Гр. Н. Н. Толстой

ОХОТА НА КАВКАЗЕ



ПУШКИНСКАЯ БИБЛІОТЕКА





Гр. Н. Н. ТОЛСТОЙ

ОХОТА НА КАВКАЗЕ

С предисловием
М. О. ГЕРШЕНЗОНА

МОСКВА
Изд. М. и С. САБАШНИКОВЫХ
1922

Р. Ц. № 103. Тираж 2000

39 тип. МСНХ. „Мосполиграф“. Путинковский пер., д. 3.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

I

В февральской книге „Современника“ за 1857 год была напечатана на первом месте обширная, в 60 с лишним страниц, статья под названием: Охота на Кавказе. Рассказы Н. Н. Т. Эти инициалы однако раскрыты в оглавлении книги, где названная статья обозначена, как „рассказы графа Николая Николаевича Толстого“.—Гр. Н. Н. Толстой—тот старший, наиболее любимый брат Л. Н. Толстого, которого, как все вероятно помнят, Л. Н. в молодости считал величайшим авторитетом для себя, с которым вместе жил на Кавказе в начале 50-х годов, и которого в 1860 году повез за границу, в Гиер, умирать. Эта статья—повидимому единственное, что сохранилось от Н. Н. Толстого. Сколько помнится, о ней до сих пор не было подробных сведений в толстовской литературе. Ее стоит воскресить, прежде всего, как прекрасное литературное произведение; притом, она в различных отношениях любопытна по отношению к Л. Н. Толстому: по ней мы можем составить себе хоть некоторое представление о личности человека, оказавшего несомненно сильное влияние на Л. Н., наконец, она бросает неожиданный свет на один из художественных образов, выведенных Толстым.

„Охота на Кавказе“ дает именно то, что́ обещает заглавие, и еще несколько больше: это—рассказ о местных условиях охоты и различных видах охоты на

Кавказе, о Кизлярских садах и охоте на кабанов, о конной облаве и т. п.,—но также и о характере природы в различных частях Кавказа, и о зверях, и об охотниках. Статья и теперь читается с большим удовольствием; она подкупает обилием тончайших наблюдений и точных знаний, которое сделало бы честь самому С. Т. Аксакову, или даже Одюбону, и которое однако не загромождает изложения, текущего легко и непринужденно. Со второй страницы видно, что этот человек, с таким зорким взглядом и прекрасной памятью, очаровательно свободен и ясен душевно, и чем дальше читаешь, тем большую симпатию и доверие внушает его спокойный и умный рассказ. Он ничего не подчеркивает, ничего не навязывает, он благородно-сдержан без всякой сухости. В этом свободном господстве над материалом и в этом ясном спокойствии повествования—прелесть его описаний. Притом, они сделаны мастерски; многие из них истинно-художественны, как, например, картина ночи в начале осени: („Гуси по прежнему ночью летают кормиться в степь“, и т. д).,—без сомнения, одно из лучших описаний живой природы в русской литературе.

Эта мягкая и однако весьма отчетливая живопись характеризует самого художника, и если вспомнить, что автор этих описаний брат Л. Н. Толстого, то различие между обоими братьями сразу бросается в глаза. Л. Н. Толстой в эти годы был очень далек от свободы и ясности; в его тогдашних писаниях совсем нет спокойствия, и меньше всего он был способен так всецело погружаться в созерцание. Его мысль поминутно возвращается от зрелища—на него самого и на человека вообще, т. е. на нравственное, и так как в нравственном нет покоя, но все—движение и оценка, то он беспрестанно выпадает из эпического тона, и подчеркивает, и навязывает читателю отдельные черты. Словом, рассказ Н. Н. Толстого точно ровным светом освещает мирный пейзаж, тогда как в картинах Л. Н.—богатая игра света и тени, в них

чувствуются темные страсти и мятежная мысль их творца. Можно догадываться о том, как импонировала эта спокойная уверенность старшого брата неуверенному тогда, тревожному Льву Николаевичу.

То же самое различие и в изображении человеческих фигур у обоих братьев. В рассказе Н. Н. Толстого их шесть или семь. Это ясные и милые эскизы, писанные без усилия и без пристрастия; по манере письма они напоминают „Записки охотника". В то время, как Л. Н. Толстой в своих кавказских и крымских повестях, изображая людей, хочет показывать их душу, их мироощущение и нравственный строй,—автор „Охоты на Кавказе" не задается никакими притязаниями, а просто описывает человека с лица, не оглядывая его со всех сторон, не забираясь внутрь его, и эта спокойная живопись достигает у него, как и у Тургенева, отличных результатов. Таковы знаменитый охотник Гирей-хан (не раз упоминающийся и в „Казаках", как кунак Лукашки), и другой туземец, старичек с красной подстриженной бородкой, и Хомка Балаш, и смелые, бойкие кизлярские казачки. Автор умеет одной чертой, самыми простыми словами, очертить образ или передать выражение лица, настроение минуты; его повествование ясно свидетельствует о незаурядном литературном даровании. Некрасов сумел оценить статью Н. Н. по достоинству—недаром он и поместил ее на первом месте в книге журнала. 22-го апреля 1857 г. он писал И. С. Тургеневу [1]): „... рассказы об охоте на Кавказе—Н. Толстого. Автор не виноват, что это не повесть, но задачу, которую он себе задал, он выполнил мастерски и, кроме того, обнаружил себя поэтом. Некогда писать, а то я бы указал в этой статье на несколько черт до того поэтических и свежих, что ай-ай! Поэзия тут на месте и мимоходом выскакивает сама собою; неизвестно, есть ли у автора творческий

---

[1]) Вестн Евр 1904 дек., стр. 621.

талант, но талант наблюдения и описания, по-моему, огромный—фигура старого казака в начале чуть тронута, но, что важно, не обмельчена, любовь видна к самой природе и птице, а не описание той и другой. Это вещь хорошая. Не знаю, насколько Лев Н. поправил слог, но мне показалось, что эта рука тверже владеет языком, чем сам Л. Н. Далекость от литературных кружков имеет также свои достоинства. Я уверен, что автор не сознал, когда писал, многих черт, которыми я любовался, как читатель, а это не часто встречаешь."

II

„Новомлинская станица", в которой происходит действие „Казаков" Л. Н. Толстого, есть, как известно, станица Старогладковская, где долго прожили оба брата Толстые (1851-1853 г.), где они одновременно наблюдали нравы гребенских казаков. „Охота на Кавказе" писана тут-же на месте. 29 октября 1852 г. Л. Н. Толстой записал в свой дневник: „Николенька пришел ко мне и читал мне свои записки об охоте. У него много таланта, но форма не хороша. Пусть он бросит рассказы об охоте, а обратит больше внимания на описание природы и нравов, они разнообразнее и хороши у него"[1]. Тогда же и у Л. Н. возник план кавказских очерков—зародыш будущих „Казаков"; за неделю пред той записью, 21-го октября 1852 г., в его дневнике записано: „После обеда помешал Епишка. Но рассказы его удивительны", и тут же вслед набросан план писания: „Очерки

[1]) „Дневник молодости Л. Н. Толстого", под ред. В. Г. Черткова, т. I, М. 1917, стр. 162. В сентябре 1860 г., т-е. после смерти Н. Н., Л. Н. Толстой писал брату Сергею (ib. стр. 242): „Два дня до смерти читал он мне свои записки об охоте". Так как „Охота на Кавказе" была уже напечатана за три года пред тем, то речь идет, очевидно, о каком-то другом, позднейшем писании Н.Н-ча.

Кавказа: 1) Рассказы Епишки а) об охоте, в) о старом житье казаков, с) о его положении в горах" [1]). Из статьи Н. Н. Толстого мы узнаем, что Н. Н. и Л. Н. Толстые снимали в Старогладковской квартиру в доме этого самого старого казака Епишки, которого Л. Н. изобразил в „Казаках" под именем Ерошки. Теперь мы можем этот художественный портрет сравнить с его подлинником, так как и Н. Н. Толстой обстоятельно описал своего домохозяина.

Сразу видно, что оба описания тождественны до мелочей. В портрете Епишки у Н. Н. Толстого нет ни одной черты, которая не была бы, часто даже в тех же словах, воспроизведена Л. Н. в Ерошке. Если прав П. И. Бирюков, утверждающий, что „Казаки" написаны в Гиере, т. е. осенью и зимою 1860 г., то даже не совсем понятно, как Л. Н. решился вывести в повести фигуру, в которой всякий памятливый читатель должен был тотчас узнать живое лицо, описанное три года назад в статье, напечатанной в „Современнике". Но Епишка был слишком колоритен, чтобы не соблазнить художника, притом, некоторыми чертами своими он был необыкновенно пригоден для уяснения и развития той идеи, которую Толстой хотел положить в основание повести, — и Толстой не только привлек его, но и отвел ему, наряду с Лукашкой и Марьяной, одно из первых мест вокруг Оленина.

Свой рассказ об Епишке Н. Н. Толстой начинает так: „Я несколько лет стоял в станице Старогладовской, у старого, давно уже отставного казака, по прозванию Епишка. Это чрезвычайно интересный, вероятно, уже последний тип старых гребенских казаков. В свое время, т. е. во время своей молодости, Епишка, по собственному его выражению, был молодец, вор, мошенник, табуны угонял на ту сторону, людей продавал, чечен-

---

[1]) Там-же, стр. 161.

цев на аркане водил; теперь он почти девяностолетний одинокий старик. Чего не видал человек этот в своей жизни! Он и в казематах сидел не однажды, и в Чечне был несколько раз". Дальше мы узнаём подробности, уже известные нам из „Казаков",—что Епишка когда-то был женат, но жена его лет пятнадцать назад сбежала с солдатом, и он остался бобылем, что у него была „няня" (друг) Гарчик и собака Лям, что он был очень умен, имел большой дар слова „в своем, совершенно оригинальном роде", и готов был просидеть всю ноч за чихирем, без конца повествуя о былых приключениях: „Вот времячко-то было! А теперь что?"... Потом автор рассказывает о своей охоте с Епишкой—и здесь мы находим сцену, знакомую нам по „Казакам", как Епишка, промахнувшись по лани, бьет себя по щекам, восклицая: „Палок на дядю! палок! Ах, я старый пес!" и т. д.

Я должен привести те строки Н. Н. Толстого, которые рисуют внешний портрет Епишки.

„Вот идет он по площади с непокрытой головой (шапку он или потерял или заложил), седой, блестящей на солнце. Белые, как лунь, волосы его развеваются по ветру. В руках у него балалайка, на ногах—черевики с серебром и кармазинные чинбары тоже с галунами. На нем надет засаленный, но непременно шелковый бешмет с короткими, по... локоть рукавами, из-за которых торчат длинные рукава клетчатой рубашки. За ним тянутся его неизменные псы... Он идет, то разговаривая с собаками, то распевая во все горло и играя на балалайке, то обращаясь с разными воззваниями к проходящим. Весьма замечательны его возгласы при встрече с женщиной: „Эй, ведьма! Милочка, душенька! полюби меня—будешь счастливая!" Этим возгласам обыкновенно предшествует какой-то особенный, одному Епишке свойственный, гортанный звук,—что-то среднее между криком и ржанием,—и в этом крике, кажется, выливается вся

душа его: так он полон жизни, страсти, и надежды, и отчаяния,—в нем и призыв, и угроза, и просьба. Потом старик обыкновенно тряхнет на балалайке и запоет какую-нибудь нелепую песню, в роде:

А ди-ди-ли!
Где его видели?
На базаре в лавке
Продает булавки!

и прочее.

У Епишки страшный грудной голос, удивительный для его лет, но от старости и беспутной жизни у него часто не хватает голоса; тогда он оканчивает песню молча, одним выражением лица и телодвижениями: губы его шевелятся, седая борода дрожит, маленькие, серенькие глаза так и прыгают, руки подаются вперед, широкие плечи округляются дугой, каждый мускул приходит в движение, ноги начинают выкидывать разные штуки,—и вдруг снова слышится голос, как будто вырывается из груди,—и Епишка заливается с новой силой, и подпрыгивает, и подплясывает совсем не по летам своим".

Тут все нам знакомо: и костюм, и фигура, и голос Епишки. В „Казаках" он точно так же задирает Марьянку: „Полюби меня, душенька! Полюби меня, будешь счастливая"—и поет эту самую песенку „Адидили", и беспрестанно поминает „хорошее времячко". И подробности другой картинки Н. Н. Толстого—как Епишка снаряжается на охоту,—точно также повторены в „Казаках".

Но у Н. Н. Толстого портрет Епишки написан об'ективно и только просвечивает психологией; Л. Н. Толстой, напротив, вскрывает ее и демонстрирует Оленину и читателю. Ему, ради Оленина, нужно рассказать мировоззрение Ерошки, и Ерошка у него много разговаривает, об'ясняет себя. „У всех свой закон, а по моему все это пустяки; все это фальшь одна, что уставщики говорят; а по моему все одно. Все Бог сделал на радость человеку. Ни в чем греха

нет. Хоть с зверя пример возьми... Сдохнешь—трава вырастет на могилке, вот и все. "—Ерошка в „Казаках" —представитель аморализма, звериной свободы, природного начала в человеке. Это был один из полюсов, к которому неотразимо влекло Оленина (и самого Толстого), тогда как в другие минуты его с неменьшею силою притягивал противоположный голос—добра („счастие в том, чтобы жить для других"). И потому в „Казаках" живой Епишка дан не об'ективно, не свободно, а препарирован для определенной цели, для демонстрации; если бы Н. Н. Толстой дожил до создания „Казаков", он верно пошутил бы над неискоренимой склонностью „Левушки" видеть в вещах больше, чем в них есть, и изображать их более определенными, чем они в действительности. Фет в своих „Воспоминаниях" говорит о Ник. Ник. Толстом: „Он так ясно умел отличать действительную сущность жизни от ее эфемерной оболочки, что с одинаковой иронией смотрел и на высший, и на низший слой кавказской жизни. И знаменитый охотник, старовер, дядюшка Епишка (в „Казаках" гр. Л. Толстого Ерошка), очевидно подмечен и вышупан до окончательной художественности Николаем Толстым". Эти слова доказывают, что Фет знал „Охоту на Кавказе" и приписывал ей известную роль в создании кавказской повести Л. Н. Толстого. Сопоставление обоих портретов Епишки вполне подтверждает догадку Фета.

М. Гершензон.

ОХОТА НА КАВКАЗЕ

I.

В РОДЕ ВВЕДЕНИЯ.

Разнообразие местности, окружающей Кавказ. — Стрельба туземцев. — Охота за дудаками. — Охота за кабанами. — Ищейки. — Зверовые собаки.

Кавказ, по множеству дичи, по разнообразию местности и климата, одна из интереснейших стран в свете для охотника. Начиная от степного дудака и сайгака до горного барана (тура), от барса, медведя и до зайца, от лебедя до белки и перепелки, здесь водятся различные породы зверей и птиц; поэтому-то здесь и возможна охота почти круглый год, не за одним, так за другим родом дичи.

Самая глухая пора для охоты на Кавказе— лето. С половины апреля почти вся птица сидит на яйцах; жара наступает сильная; лес одевается; поляны заростают камышом и бурьяном; вьющиеся растения покрывают лес; хмельник и плющ переплетаются около корней деревьев; дикий виноградник покрывает стволы их. Добравшись до самой вершины огромного дуба, он спускается оттуда длинными побегами. Развеваясь по ветру, побеги эти как будто стара-

ются захватить в свои зеленые сети вершины фруктовых деревьев: яблонь, груш, которые выказывают свои курчавые головы из сплошной массы терновника, боярышника и орешника. Дорожки и тропинки зарастают новою порослью, и лес делается решительно непроходимым.

Все сказанное относится к плоскости и предгориям; в горах—совсем другое. В апреле месяце, в снеговых горах, едва только начинает таять — между тем, как в долинах Грузии и Закавказья все фруктовые деревья давно отцвели, лес одет, в садах спеют черешни и вишни, жар около полудня бывает нестерпим: — в той же Грузии, в Черных горах Чечни, в нагорной Кабарде, у подножия Эльбруса, в землях кубанцев, нагайцев и черкесов — опять совсем другое дело: там зори и ночи очень холодны, зато днем, когда туман поднимется, обыкновенно стоит в это время, т. е. весной, прекрасная, ясная и, вместе с тем, прохладная погода.

Лес в разных местах Кавказа также очень разнообразен. В Закавказьи, на плоскости, это почти сад. Фруктовые деревья, орехи и каштаны достигают здесь исполинских размеров. На горах растут огромные чинары, дубы, клены, чандары. Между этими вековыми деревьями почти нет никакой зарости, и редко только останавливает вас дерево, с корнем вырванное ветром, сваленное обвалом, обсыпью или подмытое горным потоком; но это дерево лежит и гниет себе несколько лет, под сенью молодых побегов, которые, дружно теснясь около него, как будто

я составлют веселый оазис зелени, окруженный разнообразной колоннадой почерневших и поседевших, прямых и искривленных стволов чинар и орехов. Кой-где резко отделяются от общего фона матовая зелень и кроваво-бурый ствол сосны, пни, или далеко видный, белеющийся ствол тополя и березы.

Почти все горные леса имеют один и тот же характер. В нагорной Кабарде и у подножия Эльбруса очень много березы, рябины, и, вообще, лес более походит на русский. Чем выше подымаетесь в горы, тем более встречается сосен. Изредка только, где-нибудь на площадке, стоит развесистый дуб или лепится по скалам какой-нибудь кустарник.

Итак, на плоскости и в долинах летом почти нельзя охотиться иначе, как на «сиденки». Вообще, этот род охоты в большом употреблении на Кавказе. Здешние жители не имеют других ружей, кроме винтовки, из которой нельзя стрелять ни дробью, ни картечью. Следовательно, чтобы стрелять птицу на лету или попасть в зверя на бегу, надобно быть превосходным стрелком; а, несмотря на репутацию, какою пользуются кавказцы в России, таких стрелков между ними мало. Самый лучший стрелок из азиатцев, которого я знал, был кумык Гирей-хан. Это был маленький старичок, сухой, худощавый, невзрачный, немного рябоватый и косой на один глаз. Он имел медаль за храбрость, вечно ходил оборванцем, был довольно молчалив, хотя и очень веселого и да-

же немножко насмешливого нрава. У Гирей-хана было старое крымское ружье, очень простой отделки, служившее ему на охоте. Кроме того, имел он другое ружье, которое носил при себе, когда ездил куда-нибудь не на охоту. Охотничье же ружье свое Гирей-хан берег пуще своего единственного глаза: пеший носил его в чехле за спиной, верхом возил всегда в руке; ни за что не согласился бы старик положить ружье на арбу. Не говоря уже о том, что после каждого выстрела Гирей чистил его, но почти после каждой охоты выверял по струне и сам выправлял. Это составляло любимое занятие его. Гирей-хан был превосходный стрелок; но он никогда не стрелял в лет, даже по дудакам, которые, вскоре после первых зимних морозов и снегов, огромными стаями летят из степи через Терек и кумыцкое владение на низ, т.е. к Каспийскому морю, и пролетают над степью. Гирей-хан и все хорошие охотники делают большие приготовления к этому времени. Приготовления эти состоят в следующем: охотники, выверив ружья, начинают стрелять в цель, чтобы пригнать заряд: если пуля попадает вверх, уменьшают заряд, если вниз, прибавляют; если ружье берет вправо или влево, охотник подпиливает с противной стороны цель, поправляет прицел или снова выверяет и выправляет ружье, до тех пор, пока не попадет пуля в пулю.

Приготовив ружья, охотники дожидаются дудаков, первые стаи которых летят через самую деревню, и очень низко. В это время стре-

ляет всякий, кто только имеет ружье, — и старый и малый. Но настоящий охотник, как Гирей-хан, не станет тратить на это пороху: он ждет того времени, когда дудаки, напуганные пальбой, начинают сворачивать в сторону и. и высоко подниматься над деревней. Тогда, обыкновенно, такой охотник запрягает в арбу пару волов, берет на п ечи ружье, а с собой мальчика, чтобы стерег волов, и отправляется в степь, где дудак і садятся пастись. Они всегда подпустят арбу шагов на двести или полтораста; более и не нужно для охотника. Он ставит ружье на подчашки и бьет на выбор. Из одной стаи дудаков можно убить несколько штук. Заряд винтовки так мал, звук выстрела так незначителен, что дудаки очень часто не слетают после выстрела, особенно, если они жирны и отяжелели, тем более, что к ним под'езжают обыкновенно из-под ветра; разве тяжело подымутся ближайшие к убитому и, перелетев недалеко, опять садятся. Когда стая, поднявшись, переместилась близко, — охотник отправляется за нею; а то остается на месте, потому что стаи, пролетая, следуют одна за другою и пасутся почти на одних и тех же местах. — Лёт продолжается недели две. Хороший охотник, подобный Гирей-хану, который в двух стах шагах почти не дает промаха и всегда попадает дудаку под крыло, легко набьет в это время несколько сот дудаков.— Вместе с тем, Гирей-хан обыкновенно ходил на все «сиденки» и участвовал во всех охотах, которые производились жителями соседних аулов.

Татары охотятся за зверем или подкарауливая его на «сиденке», или, догоняя на лошади, стреляют в упор, иногда же охотятся пешие, облавой, если удастся им обойти зверя где-нибудь в отдельном острове. Хотя они и не едят свинины, но очень любят стрелять кабанов, которых продают русским, — а если некому продать, то кормят кабаниной собак. Гончих собак у татар нет; зато они приучают своих обыкновенных дворняшек отыскивать, гонять голосом и даже останавливать кабанов. Они так понятливы, что исполняют это очень искусно. Я никогда не слышал, чтобы кабан убил одну из этих собак, несмотря на то, что охота на кабанов производится в камышах, где кабан бежит и поворачивается гораздо легче, нежели собаки. Они нападают на зверя обыкновенно сзади, и, как они не так злы и горячи, как гончие, то почти всегда успевают увернуться от страшных клыков кабаньих, на которые так часто попадается гончая собака.

Лишь только охотники услышат лай собак, все с криком скачут к тому месту и, таким образом, не дают зверю остановиться. Эти собаки, разумеется, не знают никакого другого следа, кроме свиного; другого зверя они гонят только тогда, когда он у них в виду. Впрочем, некоторые из них, в очень снежные зимы, славливают зайцев и даже доходят до них по их следу.

Собаки вообще охотнее всего идут на кабана; весьма нередко даже гончие, если с ними

часто ходят за кабанами, перестают гонять другого зверя. Причины этого очень ясны: свиньи ходят большею частью табунами, почти всегда весьма близко под собаками и даже часто останавливаются; кроме того, кабаны оставляют после себя сильный запах и очень глубокий след. Тем, что кабан останавливается и защищается, он еще более озлобляет собак. Очень часто собака, особенно кобель, раненный кабаном, даже несколько раз, не только не бросает гонять свиней, но делается еще злобнее и, вместе с тем, осторожнее.

На Кавказе, почти в каждом укреплении, расположенном в таком месте, где кругом в горах или камышах есть зверь — а где нет зверя на Кавказе? — солдаты содержат целые стаи собак, с которыми охотятся за кабанами. Этих собак обыкновенно называют кабанишниками. Солдаты достают их большею частью из аулов. Татары, хотя и держат собак, но считают их нечистыми животными и потому никогда не ласкают и не кормят их из рук, — даже все, чего коснется собака, почитают нечистым. Если правоверный дотронется до собаки, то не может ни есть, ни пить, ни итти в мечеть, пока не совершит омовения. Кочующие народы, как-то: ногаи и трухменцы, все большие охотники до борзых. Им, кроме того, собаки нужны для защиты их стад от волков, и они не придерживаются, в этом случае, правила своих единоверцев. Собака для степного жителя — необходимость, почти друг; он и ест и

спит с ней вместе. Потому у него очень трудно украсть собаку, особенно борзую. Борзая, купленная у ногайца, весьма часто пропадает и всегда находит в степи кибитку своего прежнего хозяина, несмотря ни на какие препятствия. Она никогда и никому не дает себя поймать; нередко переплывает реки, отыскивая своего хозяина, и ежели он перекочевал, то находит его, следом, и в новом кочевье. Дворные же собаки в аулах почти не знают своего хозяина. Можно сказать, что они, как кошки, привыкают не к человеку, а ко двору, где живут, который они караулят и на котором их кормят. Солдаты, вообще большие охотники до животных и особенно до собак, пользуясь этим, сманивают дворных собак из аулов.

Страсть русского солдата к животным — замечательная черта в его характере. Не говоря уже о том, как наши солдаты заботятся и ухаживают за своими артельными лошадьми, рогатым скотом и свиньями, — в каждой роте, в каждой самой маленькой части войск, непременно есть или собака или кошка, или какое-либо другое животное, составляющее достояние всех и каждого. Интересно видеть, как всякий заботится об этом общем любимце, как всякий поочередно кормит ласкает или занимается воспитанием его; и, право, кажется, ни один естествоиспытатель, ни один укротитель зверей не доходил до таких результатов в искусстве приучения диких животных, каких часто достигают наши солдаты. Кроме фазанов, черных куриц,

куропаток, стрепетов, которые, будучи пойманы маленькими, делаются совершенно ручными, — каждый, кто служил на Кавказе, верно, не раз видел у солдат коз, оленей, даже кабанов, медведей, волков, лисиц, чекалок—одомашненных, если только не погибают они, по какому-нибудь несчастому случаю... И тогда надо видеть горе хозяина их! Солдаты иногда не бывают так огорчены смертью убитого товарища, как смертью каких нибудь четвероногих Васьки или Машки!

На Кавказе нижним чинам не только разрешена охота, но даже их поощряют к тому. Почти во всех полках составлены целые команды охотников. Этих последних очень много, а охотничьих собак — именно гончих и лягавых — очень мало; поэтому здесь часто употребляют для охоты или обыкновенных дворняшек, или ублюдков от лягавых и гончих с дворными. Этих собак называют здесь общим именем и щ е е к. Ищейка ходит и под ружьем, и под ястребом, и под сетью, ищет и перепелок, сажает на дерево фазанов и гоняет зайцев, — вообще она годна на все руки; а такая собака — неоцененное сокровище для солдата-охотника, который и сам обыкновенно бывает охотник-самоучка. Каким образом приучают этих собак к охоте, описать трудно. Достав собаку, охотник начинает каждый день таскаться с ней в поле. Разумеется, сначала собака или ходит за ногами хозяина, или гоняется за птичками и бабочками; но терпение все преодолевает, тем более, что на

Кавказе почти везде столько дичи, что разве только ленивый не бьет ее. Наконец, раз или два собака нечаянно выгонит зайца, фазана или стаю куропаток. Охотник убьет из-под нее и собака начинает понимать дичь, потом начинает приискивать и мало по малу натаскивается. Иногда из этих ищеек выходят очень порядочные охотничьи собаки. Точно также приучают их и к охоте за зверями. Хотя туземцы на Кавказе большею частью охотятся за зверем «на сиденки», но некоторые, как говорят, записные, имеют одну или, много, две собаки; — обыкновенно это бывает дворняшка или какой-нибудь ублюдок от собак, называемых зверовыми. Их держат только для того, чтобы отыскать раненого или убитого зверя, потому что крупный зверь, — например, кабан, олень, — после выстрела очень редко ложится на месте. Вообще, между охотниками принято за правило не отыскивать зверя тотчас после выстрела. Раненный зверь, обыкновенно, идет к воде и, напившись, ложится и издыхает. Кабан, впрочем, иногда ложится в грязь и, замарав рану, встает и идет далее. Услышав за собой шорох (раненный зверь, если его не преследуют по пятам собаки, очень чуток), он часто делает круг, притаивается на своем следе и вдруг бросается на неосторожного охотника, который проходит мимо него, — и беда, если тот не успеет увернуться. — Итти за раненным оленем нет никакой опасности, зато, большею частью, нет и никакой пользы: слыша за собой шорох,

он не скоро ляжет, и, так как он, по крепости своей, мало чувствителен к ране, то случается часто даже по пороше проходить целый день — и не отыскать оленя: он или переберется чрез воду, или уйдет в какую-нибудь непроходимую чащу. Для того, выстрелив по зверю ночью, охотник не отыскивает его, а дожидается другого или отправляется домой, и, возвратясь уже на рассвете, с собакой, отыскивает раненого зверя по следу или по крови. Если, таким образом, собаке удается несколько раз дойти по следу раненного зверя, она начинает понимать след и наконец берется гонять. — Зверовая собака обыкновенно добирается и идет по следу молча, до тех пор, пока не дойдет до зверя или до логовища: тут она подает голос, и по первому ее бреху можно довольно верно определить, кого она подняла — оленя или кабана. (Обыкновенно гончая собака лает на кабана, как на мужика, по охотничьему выражению, т. е. не гонным, а обыкновенным своим голосом. Различие между этими двумя голосами очень резко у охотничьих собак на Кавказе). Потом собака идет тихо и весьма редко подает голос: оттого кабан не боится ее и часто останавливается, в местах, где зверь не напуган. Олень тоже близко идет под собакой и даже, иногда, останавливается. — Ружейная охота с гончими за зверем — одна из труднейших, а потому может быть одною из самых интересных. Для того, чтобы охота была удачна, особенно в больших лесах, необходимо большое

число стрелков. Вообще, чем менее стрелков, тем охота эта делается труднее, и поэтому тем лучше должны быть собаки, назначение которых — гонять зверя до тех пор, пока он не встретится с охотником. В этом случае не требуется многих охотников: достаточно двух опытных смельчаков. Три или два охотника всегда могут надеяться убить зверя. Этого рода охота почитается верхом совершенства охоты с гончими. Понятно, что охота в одиночку за зверем, с одной собакой, в огромном сплошном, часто непроходимом лесу, когда эта собака почти не гонит голосом, и только изредка брешет, для привыкшего к правильной охоте кажется почти невозможною. Сколько нужно здесь терпения, опытности, знания местности и привычек зверя, чтобы только встретиться с ним,—сколько осторожности, чтобы не испугать его, и проч. Правил тут не может существовать никаких: все зависит от привычки, сметливости, какого то особенного охотничьего инстинкта, который, как чувство, показывает охотнику, куда надо бежать, где остановиться, и т. д. Одним словом, нужно видеть эту охоту самому, чтобы поверить возможности ее. Точно также настоящая охота с гончими кажется невозможностью для одиночного охотника, привыкшего более надеяться на свою способность подкараулить зверя, чем на собаку, которая обязана только найти зверя и изредка своим лаем давать знать охотнику, остановился ли зверь, или идет, и по какому направлению; все остальное зависит от самого охотника или от случая.

II.

ОКРЕСТНОСТИ КИЗЛЯРА.

Станица Старогладковская. — Охота по пороше за крупным зверем.

Я несколько лет стоял в станице Старогладковской, у старого, давно уже отставного казака, по прозванию Епишка. Это чрезвычайно интересный, вероятно, уже последний тип старых гребенских казаков. В свое время, т. е. во время своей молодости, Епишка, по собственному его выражению, был молодец, вор, мошенник, табуны угонял на ту сторону, людей продавал, чеченцев на аркане водил; теперь он почти девяностолетний одинокий старик. Чего не видал человек этот в своей жизни! Он и в казематах сидел не однажды, и в Чечне был несколько раз. Вся жизнь его составляет ряд самых странных приключений; наш старик никогда не работал; самая служба его была не то, что мы теперь привыкли понимать под этим словом. Он или был переводчиком, или исполнял такие поручения которые исполнять мог, разумеется, только он один: например, привести какого-ни-

будь абрека, живого или мертвого, из его собственной сакли, в город, поджечь дом Бей-булата, известного в то время предводителя горцев, привести к начальнику отряда почетных стариков, или аманатов, из Чечни, с'ездить с начальником на охоту, купить лошадей за рекой Последнего рода поручения, во мнении Епишки, нисколько не бесчестнее первых: то и другое он называет службой. Надо слышать, как наш старик рассказывает о том, как он исполнял это поручение и как потом такой-то генерал или такой-то капитан подносил ему „воо-от этакий стакан пунша!“—говорил он, подымая ладонь правой руки от левой, по крайней мере, на пол-аршина, и как после того он, Епишка, „отправился с фельдфебелем Солоназиным или с няней своим Гарчиком куда-нибудь к знакомому человеку и там уже пили-пили.... батенька мой!.. Вот времячко-то было! А теперь что? Где эти добрые люди девались? Вот Юрий Павлович Скоцерев—вот человек-то, батенька мой, был...“ и начинает новый бесконечный рассказ об Юрии Павловиче Скоцереве, и, таким образом, он готов просидеть всю ночь, вспоминая прежнее хорошее времячко, особливо, если перед ним стоит стакан и бутылка чихиря.

Старик этот замечателен еще тем, что он нимало не хвастун: рассказывая свои приключения, он никогда ничего не прибавит, передает просто все, как было дело, и так как он от природы очень умен и имеет большой дар слова, в своем, совершенно оригинальном роде,

то я, хотя и почти наизусть знаю все его рассказы, все-таки во всякое время готов слушать его, особенно, если он рассказывает об охоте.

Охота и бражничанье — вот две страсти нашего старика: они были и теперь остаются его единственным занятием; все другие его приключения — только эпизоды. Даже любовные похождения—у него вещь второстепенная. Они обыкновенно начиняются и кончаются выпивкой; самая цель их—большею частью, выпивка. „Вот как это дело пошло у нас на лад, я и говорю Гарчику: ну, брат, тепер у нас все будет,—она нам всего натаскает: и чихирьку, и водочки, и закусок всяких. Известное дело, баба! Ведь они, ведьмы..... как полюбит кого, она рада к нему весь дом перетаскать! уж украдет, а принесет что-нибудь!..." Лет пятнадцать назад, у Епишки была жена; но она бежала от него и потом вышла замуж за солдата,—и Епишка остался совершенным бобылем.

Вот идет он по площади, с непокрытой головой (шапку он потерял или заложил), седой, блестящей на солнце. Белые, как лунь, волосы его развеваются по ветру. В руках у него балалайка, на ногах — черевики с серебром и кармазинные чинбары тоже с галунами. На нем надет засаленный, но непременно шелковый бешмет, с короткими, по локоть, рукавами, из за которых торчат длинные рукава клетчатой рубашки. За ним тянутся его неизменные псы: Гуляй—чистый гончий кобель, Рябка — какой-то пестрый ублюдок, и, наконец, Лям — собака,

не подходящая ни к какой породе, — собака невозможная, худая, старая, почти совершенно голая, с какими-то красными пятнами, в роде очков, кругом глаз, с странными пролежнями, в виде двух камней, около хвоста. Чем питаются эти собаки, — неведомо; достоверно известно только то, что Епишка не кормит их. Не смотря на то, эти собаки очень привязаны к нему и сопровождают его повсюду, особенно, когда он пьян. Он идет, то разговаривая с собаками, то распевая во все горло и играя на балалайке, то обращаясь с разными воззваниями к проходящим. Весьма замечательны его возгласы при встрече с женщиной: „эй! ведьма! милочка! душенька! полюби меня — будешь счастливая!". Этим возгласам обыкновенно предшествует какой-то особенный, одному Епишке свойственный, гортанный звук, — что-то среднее между криком и ржанием, — и в этом крике, кажется, выливается вся душа его: так он полон жизни, страсти, и надежды, и отчаяния, — в нем и призыв, и угроза, и просьба. Потом старик, обыкновенно, тряхнет на балалайке и запоет какую-нибудь нелепую песню, в роде:

А дидили!
Где его видели?
На базаре, в лавке,
Продает булавки! и прочее.

У Епишки страшный грудной голос, удивительный для его лет; но от старости и беспутной жизни у него часто не хватает голоса; тогда он оканчивает песню молча, одним выра-

жением лица и телодвижениями: губы его шевелятся, седая борода дрожит, маленькие, серенькие глаза так и прыгают, руки подаются вперед, широкие плечи округляются дугой, каждый мускул приходит в движение, ноги начинают выкидывать разные штуки, — и вдруг, снова слышится голос, как будто вырывается из груди, — и Епишка заливается с новой силой и подпрыгивает, и подплясывает совсем не по летам своим.

Таков Епишка. Но когда он идет на охоту, дело совсем другое. Вот он отправляется на „сиденку“, перед закатом солнца; ни одна собака нейдет за ним. Он пробирается задними улицами, около плетней, чтобы люди не видали и не сглазили его. На голове у него какая-нибудь шапченка, едва прекрывающая его огромную, седую башку; на ногах особого рода черевики, огромные, белые, шерстью вверх, узкие чинбары, перевязанные веревочкой. Старый зипунишко перетянут ремнем; на ремне висят пороховая мерка и кинжал, который, обыкновенно, у Епишки мотается за спиной. Тут же заткнут у него мешок: в мешке пульки, порох, кусок хлебца, живая курочка, которая может пригодиться ему завтрашний день, потому что если Бог ничего не даст ему на сиденке, он пойдет караулить ястреба. Поэтому-то, за плечом у Епишки, кроме ружья чуть не в сажень, сеть, намотанная на две длиные палки; кроме этого, с ним кобылка—для фазанов. В руках у него подсошки и конский хвост, чтобы отмахиваться

от комаров. Во всех этих вооружениях, старик на целые сутки отправляется на охоту, верст за семь от станицы. До места сиденки ему йтти лесом, где непривычный человек не проберется и без ноши, а Епишка тащит на себе всю свою принадлежность. Все роды охоты, употребляемые на Кавказе, он знает превосходно, зато никак не может понять моей охоты, т. е. охоты с гончими.

—Что, батенька мой, у тебя за собаки?

—А что?

—Да что—черти, а не собаки. С ними разве можно убить? Ты убиваешь?.... а? Правда, ваше дело такое — убьешь зайчика, чекалку, кошку.... дрянь какую.... и довольно с тебя: я, мол, хожу для удовольствия! Да это ведь не охота! С этими собаками какая охота! Как вскочат в лес, какой черт им не попадется — лиса ли, заяц ли — они тянь! тянь! тянь! тянь! рады его день целый гонять, пока не убьешь.... и за одним каким-нибудь чертом сколько ты, бедный, маешься, сколько зыку наделаешь!... Тут потихоньку можно бы зверя убить, а он встанет да и пойдет себе! Дожидайся его! Он не дурак: будет тебе лежать тут! как же!... Нет, батенька, с этими собаками тебе зверя не убить....

Епишка имел полное право говорить это: сначала я никак не мог убить из-под гончих зверя, пока не узнал хорошо местности. И, действительно, местность в Старогладковской очень затрудняет охотника: лес слишком обширен, тянется вдоль всего берега Терека, и во многих

местах соединяется с камышами, которые идут далеко в степь, так что, можно сказать, он составляет два огромные, почти сплошные острова,— один ниже станицы, а другой выше, — оба изредка пересеченные маленькими полянами. Кроме того, лес этот так густ, что для охоты за крупным зверем надобно иметь, по крайней мере, человек двадцать стрелков, а у меня всего один охотник, неизменнный мой Алексей (он же камердинер и повар, а в случае нужды кучер, портной и оружейник). Мы охотиться ходили вдвоем, втроем, и, никак не больше, вчетвером, на зайцев, лисиц, чекалок, диких коз и фазанов.

Несколько раз брал я с собой Епишку; но он, как уже сказано, решительно не понимает охоты с гончими. Впрочем, очень хорошо зная места, он всегда брался заводить собак; но ни за что не мог я уговорить его, хоть изредка, посвистать или подать голос, чтобы и собака, и охотник знали, где он и куда надо держать. Кроме того, собаки, которых он непременно берет с собой, постоянно сбивают моих, и охота кончается тем, что старик убьет одного или двух фазанчиков, которых собаки посадят на деревья, — и только; потом Епишка начинает учить меня, как надо охотиться.

—Вот, батюшка, был у меня Мутродат — вот так собака! Вот с ним убьешь.... Пойду, бывало, я с ним в лес: полезет он, сердечный, в чащу — только ты и видел его, — а сам сидишь себе на тропке да только слушаешь....

вдруг — гавк!... Вот уже тут только забегай: знаешь, что кабан или олень. Остановишься послушать, где он брешет, и опять забегаешь. А уж Мутродат не обманет.... Что твои собаки! как напали на след, так и пошли — тянь! тянь! тянь! тянь! а зверь уж вон где! А Мутродат, бывало, идет тихо, как дойдет до зверя, тут только раз брехнет да и опять пошел за ним, день целый проходит.... Вот этак убьешь!

Вот этого-то именно я сперва и не мог понять, как таким образом встретить и убить зверя. Раз и пошел я со стариком на охоту. Из собак его мы взяли одного Рябчика. Охотников же нас было всего трое: Епишка, Алексей и я. Но, как неопытный охотник, я был, можно сказать, только зрителем, да и пошел собственно за тем, чтобы иметь понятие об этом роде охоты.

Это было зимой, по первой пороше. Снег только что выпал... Я очень люблю первую порошу. Глаз не привык еще к этой однообразной белизне. Как-то больно и, вместе с тем, приятно смотреть на поля и лес, покрытые мягким, рыхлым, блестящим и еще совершенно девственным снегом; как-то приятно топтать его, когда нет на нем ни одного следа. Кой-где разве полевая мышь провела свой тоненький, двойной следочек, глядя на который, кажется, видишь, как она выскочила из своей норки, заметанной снегом, и торопливо перебежала в кусты; или куропатки где-нибудь до земли разрыли снег, которым за ночь совершенно занесло их. Проснув-

шись утром, они отряхнулись, поскреблись немножко и, боясь бегать далеко, с чириканьем и свистом взлетели и долго носились над полем и кустами, не решаясь опуститься на снег, так неожиданно покрывший и изменивший еще вчера так хорошо знакомые им места. Они не узнают теперь ни кустов, ни высокого бурьяна, которого одни верхушки чернеются из-под снега. Наконец, куропатки опускаются, тонут в мокром снеге и сидят, изредка отряхаясь и боязливо оглядываясь, вытягивая свои длинные шеи и едва подымая головки, до тех пор, пока голод или какой-нибудь случай не заставит их подняться. Вообще, весь зверь и птица несколько дней после первого снега не решаются оставить тех мест, где их застигла зима, пока они не оглядятся, не освоятся с новым видом окружающих их предметов, вновь не познакомятся с местностью, которой, разумеется, сначала не узнают в ее новом порядке. Поэтому, в первую порошу вы редко увидите заячий след. И то это только гонный, спуганный заяц перемещается, то есть, не найдя своего старого места, остается там, куда прибежит случайно. Даже птицы не решаются в это время лететь далеко, — и лишь вороны важно и безбоязненно расхаживают себе по кучам навоза, занесенного снегом, оставляя на них разные прихотливые узоры, да смелые и беззаботные сороки щебечует, подпрыгивая, и кладут везде свой двойной след....

В одну из таких-то порош и отправились мы с Епишкой на охоту,—добрались до камы-

ша, прошли уже большую часть его и приближались к валу, за которым начинается большой лес — и не напали ни на один след. Лес этот тянется влево верст на семь, а направо выходит углом и кончается против поста на Тереке.

Старик, который шел впереди нас, остановился: звериная тропа пересекала дорогу; но по рыхлому снегу трудно было разобрать след. Очевидно, звери вышли из камыша справа, несколько времени прошли по дороге и опять направились в камыш влево. То были олени. Несколько следов отпечатались ясно; но не представлялось возможности определить, рога ли это ланки, или молодой зверь, и сколько их именно. — Епишка с собакой пошел по следу. Алексей побежал назад, чтобы обойти камыш со степной стороны, а я направился прямо и, выйдя на дорогу, которая вела мимо самого вала на Терек, повернув налево и пройдя несколько времени увидел два оленьих следа. Они вышли из камыша, перешли дорогу, вал, и скрылись в крупном лесу. Я остановился в недоумении, те же ли это олени, или другие. Вскоре услышал я голос собаки, шедшей по направлению следов. Через несколько времени собака смолкла; но я все-таки не решался окликать ее. Вскоре она показалась, перешла чрез дорогу и обратилась, по следу, к лесу. За ней увидел я старика, который начал пристально рассматривать следы.

—Что? спросил я его вполголоса, когда он выпрямился.

—Один след пошел прямо. Должно быть, тот большой след, а это чуть ли не ланки.

И Епишка снова нагнулся над следом.

Охота начинала интересовать меня. Сердце сильно стучало в груди.

- Ну, что? спросил я еще раз.

Старик быстро обернулся ко мне, поднял руку в знак молчания, вытянул шею, наклонил немного на сторону голову и присторожился. Я последовал его примеру, то-есть стал тоже прислушиваться. Ничего, однако, не было слышно; только вороны кричали на Тереке.

— Рябчик, должно быть, потерял след на валу. Я пойду наведу его; а ты, смотри, если зверь пошел направо, забегай по этой дорожке, сказал мне Епишка, показывая на тропку, которая вела к посту. — Он непременно пойдет по поляне, мимо поста; назад он не пойдет, и в Терек не пойдет.

— А если он пойдет влево? спросил я.

— Тогда далеко зайдет, отвечал Епишка и, покачав седой головой, вошел в лес.

Несколько спустя, я слышал, как он окликал собаку. Потом собака отрывисто брехнула раза два, и прямо против меня произошел шум. Курки были уже взведены у меня, оружие наготове, когда на валу показался старик. Он был мокр с ног до головы; верх его папахи так намок, что прилип к голове; окладистую бороду Епишки стянуло каким-то клином. Один только непокорный клок седых волос отделился и торчал в сторону, как гигантский ус. Но мне не-

когда было рассматривать старика. Он махал мне рукой и кричал: «забегай направо, добрый человек!» Я побежал по тропке, стараясь шуметь как можно меньше; но, несмотря на это, несколько раз останавливал меня виноградник, или терновник цеплялся за мою черкеску, — сухие ветви трескались. Фазан с криком взлетел из-под моих ног. Я все бежал. Мокрые ветви били по лицу; снег сыпался на меня с кустов, которые я задевал шапкой, и, когда вышел на поляну, я был, вероятно, так же красив, как и Епишка. Я остановился. Направо от меня чернел еще не замерзший терновник, за ним тянулась белая степь, и вдали зубчатые вершины снежных гор высоко подымались к небу и, освещенные лучами солнца, казались золотой стеной, отделяющей голубое небо от белой земли. Сзади меня находился пост, а прямо — густой лес. Я слушал: собака изредка подавала голос... все ближе и ближе; наконец она совсем подходила к опушке. Каждую минуту ожидал я услышать треск от приближающихся шагов зверя. Скрипел ли камыш, падал ли снег с вершины деревьев, я вздрагивал при всяком звуке и не смел пошевелиться. При всем том, зверь, вероятно, заметил меня и повернул. Собака погнала по горячему следу и начала удаляться в глубь. Зная, что там старик, я с нетерпением ожидал выстрела; но выстрела не было Наконец не стало уже слышно и голоса собаки. Закинув ружье за плечи, пошел я по дороге, миновал место, где зверь вошел в лес, прошел и то ме-

сто, где старая канава соединяется с валом, и вступил в большой лес. Я уже немного уставал и, не зная, куда итти, решился дожидаться и сел на дороге. Солнце было высоко; снег на деревьях таял и с шумом сыпался с верхних сучьев; черные ветви высоких деревьев отчетливо рисовались на темном небе. В лесу все ожило. Кое-где покрикивали фазаны; дятлы стучали. На одном из толстых деревьев, около меня, трещала невидимая птица; невдалеке летала, или, лучше сказать, перепрыгивала с ветки на ветку синичка. Я любовался, как эта веселая птичка то чирикала, сидя на ветке, то качалась, повиснув вниз спинкой, на гибкой камышевке и, казалось, поглядывала из-за нее на спинку свою; иногда, как будто потеряв равновесие, синичка точно падала на землю, потом цеплялась за какую-нибудь ветку и, подняв хвост и распустив крылья, готовилась опять опуститься на землю, но вдруг, вместо того, быстро поднималась вверх и скрывалась за толстым чинаром и затем снова появлялась и проворно бегала, то вверх, то вниз, по стволу дерева.

Я просидел в таком положении довольно долго, как вдруг вдали услыхал голос собаки. Впрочем, и прежде несколько раз воображалось мне, что я слышу лай ее; но оказывалось, что это или был крик сойки, или какой-либо случайный звук. Теперь же я слышал ясно, что собака гнала и все приближалась ко мне; наконец, послышался треск... яснее и яснее... Зверь шел вдоль леса, мимо меня; но лес в этом ме-

сте был так густ, что я никак не мог увидеть зверя. Вдруг треск смолк, как будто зверь остановился. Я решился сделать несколько шагов, чтобы зайти с другой стороны чащи, против которой я стоял; но какая-то подлая ветка хрупнула у меня под ногой — и зверь пошел дальше. Опять неудача! Собака, между тем, шла за зверем, изредка подавая голос... Я уже думал, что охота наша решительно не удалась, как вдруг раздался выстрел. Кто стрелял? по чем? попал или нет? Все эти вопросы разом явились в моей голове... Я стал прислушиваться: собака продолжала гнать. «Стало быть промах!» подумал я и отправился назад. Выйдя на перекресток, на старой канаве, я увидел Епишку, заряжавшего ружье.

— По чем стрелял?

— По ланке.

— Что, промах? продолжал я.

— Нет! я хорошо стрелял, отвечал старик:— должно быть попал.

— Куда стрелял?

— В бок... Пойдем искать крови...

Действительно, чрез несколько шагов, на снегу показалась кровь. Мы пошли дальше. Вдруг собака, голос которой раздавался впереди нас, остановясь, начала брехать на месте, несколько вправо от нас. Мы пошли по этому направлению, — старик — впереди, и я насилу поспевал за ним, с трудом пробираясь по чаще Наконец я совсем отстал от Епишки; — когда догнал его, глазам моим представилась

самая несчастная фигура: ружье свое он прислонил к дереву, шапка его лежала на земле, руки были опущены; сам он стоял словно опущенный в воду и покачивал головой. Лишь только увидел меня старик, как начал, с комическим отчаянием, колотить себя по щекам.

— Палок на дядю! палок! кричал он. — Ах, я старый пес! Ведь это, батенька мой, Рябчик на кабана брехал, — а я, старый дурак, думал, что он дошел до раненной ланки, и ломлюсь к нему, как чорт какой, да еще с-под ветру!.. Кабан меня как услыхал... у-хх! да и пошел!.. Тут я себя и взял за бороду, да уж поздно...

— Что ж теперь делать?

— Да надо итти за ним: может, Бог даст, где-нибудь и остановится.

Но я так устал, что решительно отказался итти.

— Ну, так выходи на дорожку — вот сюда, сказал мне старик, показывая рукой вправо, а сам, взяв ружье, побрел целиком через лес.

«Экой здоровый мужчина!» подумал я с небольшой завистью и начал выбираться на дорожку; кой-как добрел до нее и, совершенно мокрый, усталый и измученный, лег отдохнуть на снег. Не ближе как часа через полтора, возвратился старик. С ним был и Алексей. Я уже отдохнул и ходил взад и вперед по дорожке, чтобы согреть ноги.

— Ну, что?

— Ушел чрез поляну, мимо поста, в большой камыш.

— А Рябчик?

— Пошел за ним.

— Что ж мы будем делать?

— Надо итти отыскивать лань.

Пошли, — я — следом, или, лучше сказать, кровью, потому что ее, с каждым шагом, было больше и больше; Епишка шел справа, Алексей — слева. Вдруг Алексей остановился и начал целиться. Смотря по направлению его ружья, я увидел лань, которая в то самое время, как Алексей выстрелил, стояла прислонясь к дереву, опустив голову и высуня язык. После выстрела она подняла голову, зашаталась и упала. Когда же мы подошли к лани, она была уже мертва. Первая пуля пробила ей живот, вторая разбила все передние лопатки. Подтащив убитое животное ближе к дороге, мы отправились домой...

Охота эта, хотя и довольно удачная, мне не понравилась.

Охота может быть или правильною, или неправильною. П р а в и л ь н о ю называется такая охота, где удача зависит от соблюдения известных правил, основанных, разумеется, на опыте; н е п р а в и л ь н а я охота—та, где удача зависит более от случая или от таких обстоятельств, которые невозможно подвести ни под какие правила. Ясно, что охота, которую я сейчас описывал, неправильная. Но не понравилась она мне совсем не потому, — я не педант на охоте, — а оттого, что такого рода охота требует слишком много опытности, терпения,

неутомимости; кроме того, она слишком зависит от случая, слишком однообразна и неблагодарна. Вообще, охотиться таким образом может только такой человек, как мой хозяин, который привык к этому роду охоты с малолетства и который не имеет никакого понятия о правильной охоте, с гончими. Впрочем, и старик наш впоследствии начал понимать и ценить ее, именно когда, достаточно ознакомясь с местностью и сформировав маленькую, но хорошую стаю гончих (у меня никогда не было на пуску более двух смычков), я стал часто бить из-под них оленей, кабанов и диких коз.

III.

ТАРУМОВКА. — КИЗЛЯРСКИЕ САДЫ.

Вниз по Тереку, ниже Кизляра, лежат несколько русских помещичьих деревень, окруженных степью, камышем, озерами и болотами. Летом, когда Терек от таяния снегов в горах разольется, вода бежит по всем канавам, ёрикам, протокам, вообще по всем низким местам, в степь, наполняет озера, болота, камыши. Эти последние делаются решительно непроходимыми. Зато какое раздолье для всякой дичи! Выводки всех возможных пород диких уток спокойно плавают между камышами, под предводительством матерых уток и красных селезней. На каждой травке, на каждом островке, на берегу каждой канавки неподвижно сидят целые стаи белых колпиков, или черных бакланов и каравaек, между тем, как цапли и огромные белые чепуры важно расхаживают по воде, а резвые кулики самых разнообразных пород, начиная с крошечного песочника до долгоносого штигля, с красивого кроншнепа до уродливого кривоноса, с робкого бекаса до забияки турухтана, проворно бегают по берегу или со свистом пе-

селетают с одного места на другое. На озерах стадами сидят молодые серые лебеди, только что выбравшиеся на просторное озеро из густых камышей. Яркий солнечный свет, голубое небо, прозрачная вода и свежий ветерок, изредка пробегающий по озеру, — все это дико и ново для них. Они теснятся в кучи и робко озираются, между тем, как старые лебеди, белые, как снег, попарно и важно плавают по средине озера, вытянув шею и тихо поворачивая голову то вправо, то влево, как будто любуются своим молодым поколением. На мелких озерах и узких протоках собираются птицы бабы. Выстроясь в ряд, они или чинно плавают или, с криком шлепая по воде своими широкими крыльями, гоняют рыбу; а крикливые чайки и рыболовы, быстро махая крыльями, то неподвижно стоят над бабами в воздухе, то камнем опускаются в воду, или, стрелой пролетая над ее поверхностью, хватают добычу из под носа этих тяжелых птиц. Красные утки облепили одинокие деревья и по временам дают знать о себе своим грустно-диким голосом, похожим на стон ребенка или на крик дикой кошки. В высоких местах, в кустах громко перекликаются фазаны, в болоте ревет выпь, а в самой чаще камышей целый день гогочут невидимые стада казарок и гусей. В это время дикие гуси линяют и держатся в самых крепких местах, только по ночам выплывая на озера и разливы. Но с приближением осени птицы эти делаются деятельнее, предприимчивее. Молодые гуси уже совсем

оперились, старые вылиняли. Огромная стая их, с криком, с утра до вечера носится над камышами, пробуя свои силы и приготовляясь к дальнему путешествию. День кончается и гуси далеко улетают в степи, где и пасутся всю ночь, лишь к утру возвращаясь в свои родные камыши...

Но вот приближается и настоящая осень. Вода начинает сбывать. Уже в степи, где были озера, блестят на солнце одни белые солончаки. Зайцы прикочевывают из степи в высохшие болота; стаи волков и чекалок появляются в камышах; лисицы начинают рыскать по гривам и островам; все чаще и чаще раздается по ночам громкий и отрывистый рев: это началась оленья руйка, — рогатые скликают самок и вызывают на бой соперников. В камышах показываются ласточки, которые то быстро летают над водой, то смирно сидят на кучах сухого переломленного камыша и дожидаются только попутного ветра, чтоб улететь. Уже каждую ночь, высоко в небе, тянутся длинные вереницы журавлей: перелет начался. Не находя прежних привольных разливов, первые улетают гуси; за ними тянутся казарки, потом лебеди, утки и пр. Зато со всех сторон из степи слетаются на низ к камышам бесчисленные табуны дудаков и стрепетов. Снегу здесь почти не бывает, и птицы эти пасутся в степи всю зиму. Целый день над камышами летают крикливые стаи уток, отыскивающих воды... Вот, сделав несколько кругов в воздухе, они с шумом опускаются на

озеро или проток, где вода не замерзла и где уже плавают целые стаи птиц всех возможных пород, оставшихся здесь на зимовку. Гуси, по прежнему, ночью летают кормиться в степь, а днем держатся в камышах. В этих ежедневных перелетах установлен у них особенный порядок. Всегда в одну пору — около полуночи — когда вся стая, рассыпавшись по степи, спокойно пасется, часовой между гусями поднимает крик: собираются все гуси, и погоготав несколько времени на месте, вдруг поднимаются, летят к камышам и опускаются где-нибудь на поляне так тихо, что разве чуткий лебедь, спокойно спящий на ближайшем озере, проснется и окликнет своих новых соседей громким и протяжным криком... Далеко по камышам раздается этот заунывный звук, тихо умирающий в невозмутимой тишине ночи... Или дикий козел, изумленный и испуганный шелестом крыльев гусей, отрывисто зявкнет, сделает несколько скачков, остановится, тревожно озирается и потом снова, опустив голову, начинает щипать сухую траву; да иногда лиса, услыхав, как опускался табун гусей на поляну, тихо приляжет на брюхо и, пролежав несколько времени, осторожно поползет камышом к лакомой добыче. Но редко удается ей застать врасплох не менее осторожных птиц. Молодые гуси, правда, засыпают беспечно, опускаясь на брюхо; но старые остаются на одной ноге и спят чутко, завернув под крыло голову. Едва заметят они опасность или, просто, услышат малейший шорох, как подымают голо-

ву, вытягивают шею и боязливо оглядываются кругом. Крадется ли камышами лиса, рыщет ли голодный волк, или запоздалая чекалка спешит присоединиться к своей стае, которая уже давно и плачет, и воет, и смеется в самой чаще камыша, или тяжелый кабан ломает камыш, пробираясь к своей котлубани, — старые гуси подымают крик — вся стая просыпается и вторит им, заглушая своим криком все другие звуки ночи. Таким образом, обманутая в своих надеждах, лиса бежит искать счастия в ином месте... И так, впродолжение всей ночи, один звук сменяется другим: то кричат гуси, то, чуя добычу, воют волки, то высоко в небе раздается резкий, будто металлический звук копчика, с криком летящего Бог знает откуда и Бог знает куда... Перед рассветом, фазаны начинают громко перекликаться и, стряхнув с своих красивых перьев ночной иней, выбегают на тропинки. Выгнув шею и хвост, бегают они проворно взад и вперед, встречаясь то с зайцем, который идет с жировки на свое логовище в степь, то с оленем, важною поступью возвращающимся в камыши...

Весною озера и протоки снова наполняются водою, снова прилетает птица с моря, но уже не держится стаями, а порознь или попарно скрывается в камышах. Самки садятся на яйца, и только самцы плавают на озерах. Свиньи уже опоросились и выходят со своими детенышами на поляны, покрытые свежей травой; стельные анки забились в самую непроходимую лаланк

олень сбросил рога и бродит по камышам, отскивая воды и прохлады. Солнце уже печет, миллионы комаров носятся в воздухе...

В эту самую пору мне случилось быть на охоте в деревне Тарумовке. Я давно слыхал, что тарумовские крестьяне охотятся за кабанами с одними собаками, простыми дворняшками, которых ловят в Кизляре, около рыбных рядов, где собаки эти, без хозяев, никому не принадлежащие, почти дикие, скитаются целыми стаями. Мне давно хотелось видеть этот оригинальный род охоты, и наконец я собрался в Тарумовку.

Дорога в эту деревню идет чрез сады... Представьте себе пространство земли верст в тридцать длиною и верст на десять, или больше, в ширину, все покрытое виноградником. Сады эти отделены один от другого или прямыми дорожками, или аллеями прекраснейших фруктовых дерев всех возможных пород, или канавами, по которым бежит из Терека вода, потом разливающаяся хейванами по виноградникам (хейванами называются канавки, которыми проводят воду из главных канав в виноградники). В каждом саду, под тенью огромного фруктового дерева, стоит или хорошенький домик с красной или зеленой тесовой крышей, с красивым балкончиком, или длинная белая сакля с плоской земляной крышей. Кое-где между садами — пустыри, заброшенные сады, тутовые рощи или кустарники. В этих-то местах и даже в самых садах, между таркал, водится про-

пасть дичи: зайцы, чекалки, лисицы, дикие козы, куропатки, фазаны — в несметном числе. Есть даже кабаны; иногда заходят и олени.

Смело можно сказать, что едва ли есть уголок в свете, где бы можно было пользоваться такими удобствами на охоте, как в кизлярских садах осенью, во время уборки винограда. Вы или идете по прекрасной, чисто выметенной и усыпанной песком дорожке, или стоите в тени огромных фруктовых дерев. Превосходные спелые плоды: груши, персики, абрикосы, бергамоты, сливы качаются на ветках, и вам стоит только протянуть руку, чтобы сорвать их. Кругом вас, справа, слева, спереди, целое море винограда, — и ничего больше, кроме винограда. Зелени не видать. Редко где-нибудь по высокой торкалине вьется лоза, на которой осталось несколько листов яркого кровавого цвета; остальные листы, запыленные, почерневшие, с'ежившиеся от солнца, прячутся между черными и темно-синими гроздьями, только кое-где прозрачными. Янтарные кисти белого и розового винограда нарушают это однообразие. Местами чернеется уже убранный сад. Серые торкалы грустно стоят длинными рядами; кое-где забытая кисть валяется на земле или длинная плеть тихо качается при малейшем дуновении ветерка, между тем, как осеннее солнце так и печет, на небе ни одного облачка, воздух прозрачен до такой степени, что вы, кажется, видите, как разливаются по нем волнообразные лучи света. Если смотреть вдаль по хейвану или дорожке,

то все предметы словно покрыты какой-то прозрачной, дрожащей паутиной. Вам не хочется оставить тени дерева, под которым вы остановились; вы лениво прислушиваетесь к голосу собак, которые где нибудь по пустырю гоняют лису или чекалку, то приближаясь, то удаляясь от вас. Безпрестанно самые разнообразные звуки заглушают их голоса: то скрип арбы, нагруженной виноградом и тихо подвигающейся по дорожке; то однообразная песнь ногайца, который, где-нибудь на заводе, стоит в каюке, держится обеими руками за перекладину и лениво топчет мешки с виноградом голыми ногами, по колено выпачканными в красную, как кровь, чепру; то повелительный голос томады, который, по армянски или по татарски, отдает приказания своим разноплеменным работникам; то веселый женский смех или звонкое, несколько визгливое пение казачек, которые режут виноград в ближайшем саду. Они безпрестанно оставляют работу, чтобы перешептаться между собою, пока наконец одна из них не решится задрать вас. Обыкновенно это бывает лет тридцати бой-баба, в одной рубашке, рѣзко обрисовывающей ее формы, в платке, который совершенно закрывает ее голову и нижнюю часть лица, показывая только одни глаза, большею частью очень смелые и не лишенные выражения. «Що тут стоишь? Аль работать хочешь? На, я те мой резец дам... Куцый ты бес этакий, скобленное мурло!» — И звонкий смех только вторит этой остроумной шутке... Между тем, где-нибудь

вдали, раздались выстрел, крик «го-го! дошел!..» собаки смолкли или зверь прокрался хейванами, и собаки или сбились, или загнались из слуха вон... Вы устали. Но перед вами стоит красивый домик, со светленьким мезонином, с балконом и навесом под крылечком. Направо от дома — длинный сарай, под прохладной тенью которого лежат два ряда бочек. Плоская крыша его вся покрыта виноградом, который вялится на солнце. Налево — водопод'емная машина. Длинные и тонкие коромысла скрипят, тихо покачиваясь в воздухе. Галки с криком сбивают одна другую с оконечностей их. По двору шумно расхаживают белые голуби; здесь же, на дворе, огромное тутовое или ореховое дерево раскинуло свою широкую тень. Хозяин встречает вас радушно. Вы садитесь отдыхать в прохладной комнате: перед вами — бутылка доброго старого вина или чашка маджары, свежий овечий сыр, превосходные фрукты, сочный арбуз или душистая дыня... Между тем, собаки отдохнули и опять уже гоняют. Вы выходите, делаете несколько шагов — и снова на охоте; поохотясь, отправляетесь в другой сад, где встречают вас точно так же...

Во время уборки винограда, в каждом саду вы непременно застанете хозяина. Все кизлярские обыкновенно перебираются в сады. Вообще, они очень гостеприимны, но в эту пору окруженные изобилием плодов земных, когда урожай винограда обещает хорошие барыши, с особенным радушием принимают каждого.

Надобно сказать, что хозяева садов очень довольны, когда у них охотятся: так как в садах, часто по нескольким дням, скрываются абреки, то присутствие хорошо вооруженных людей, и, кроме того, хороших стрелков, в некотором роде, обеспечивает хозяина сада...

Один мой приятель, хороший знакомый по охоте, несколько лет жил в кизлярских садах, то у одного, то у другого хозяина, которые, просто, старались переманивать его к себе, давали ему полное содержание, т. е. чай, сахар, стол, вино, корм для собак, — словом, все, что нужно было ему, за то только, чтобы он жил и охотился у них в садах. И, действительно, с раннего утра до позднего вечера раздавался в садах голос его Проворки (чудесной выжловки, черной с красными подпалинами, длинной, волнистой шерстью, шелковистой, как у шарло, с толстым косматым правилом), —слышались целый день рог и порсканье Мамонова...

Странный человек был этот Мамонов! Он, кажется, родился охотником. По крайней мере, я не могу представить его себе иначе, как окруженного собаками, с ружьем и рогом, в каком-нибудь диковинном охотничьем костюме — ергаке или изодранной черкеске, которая не надета на нем, а словно распялена, как на вешалке, на его широких и угловатых плечах.

В молодости Мамонов служил в России юнкером, — потом, за какую-то шалость, был разжалован в унтер-офицеры и перешел на Кавказ, где лет одиннадцать прослужил в нижнем

чине. Несмотря на то, что Мамонов был действительно очень храбр и, к тому ж, очень добрый человек, несмотря на несколько ран, полученных им, — он ничего не выслужил и вышел в отставку тем же, чем был, т. е. „из дворян“. Зато он приобрел репутацию отчаянного храбреца, что на Кавказе не весьма легко, и превосходного охотника. „Сам Мамон сказал это“ говорили охотники между собой, — и это часто решало споры. Страсть Мамонова к охоте, с летами, приняла неимоверные размеры: он решительно жил для одной охоты, для нее рисковал жизнью, портил свою службу, ссорился с начальниками. В полку его любили и солдаты, и начальники; но и те и другие смотрели на него, правда, как на человека действительно храброго, зато самого безалаберного и бесполезного для службы. Одним словом, он от всех рук отбился, даже у татар, которые боялись его и звали Шейтан-агач (лесной чорт). Мамонов ходил, со своими собаками, по самым опасным местам один, несколько раз встречался с горцами и постоянно счастливо отделывался от них. Однажды только ему, на охоте, отстрелили ухо; зато он в этот раз убил двух или трех человек.

Никто, даже, кажется, и сам Мамонов, не знал, в какой роте числится он. Родные тоже отказались от него. Но во всем этом он утешал себя охотой. Когда, бывало, Мамонов выйдет на двор, с ружьем в руке, протрубит позыв, закричит своим густым басом: „сюда! сюда, со-

бачонки, сюда!“ и целая стая собак, всех возможных пород и возрастов, с радостным визгом окружит его, — в такие минуты он бывал удивителен. Стрелял Мамонов очень порядочно, но не превосходно; зато охоту, и в особенности охоту с гончими, он понимал в совершенстве. Никто лучше его не умел выкармливать щенка, укладывать гончих, дрессировать лягавых собак. Где доставал Мамонов собак, чем содержал их, это всегда оставалось тайной для меня; но он постоянно имел их пять-шесть, и столько-же щенков, и все они были в превосходном теле. Менять, дарить, продавать, вообще цыганить собаками составляло страсть Мамонова. Разумеется, украсть собаку, тем более у не-охотника, почитал он делом совершенно позволительным. Зато приятеля, то-есть хорошего охотника, он сам готов был снабдить собаками. С не-охотником или дурным охотником быть приятелем он не мог: таких людей Мамонов презирал в душе своей, даже, кажется, глядел на них с каким-то сожалением, как на париев. В поле был он довольно несносный охотник — спорщик и хвастун, — вообще, принадлежал к числу таких охотников, каких, к сожалению, встречал я очень много. Мамонов воображал, что хороший охотник в поле непременно должен кричать и спорить. Без этого охота была ему не в охоту. Спорить и рассуждать о ней готов он был с каждым: это составляло для него высшее наслаждение. Вообще, бесцеремонность переходила у Мамонова в грубость, но, в сущности, он отли-

чался добротой, — заветного ничего не имел, исключая разве одной или двух собак, с которыми не разставался ни днем, ни ночью, с которыми ел, пил и спал вместе и которых не отдал-бы и отцу родному. Действительно, это были превосходные собаки. Услужливость Мамонова доходила иногда до навязчивости. Сидишь, бывало, в своей комнате, — вдруг отворяется дверь — является Мамонов, за ним вся его стая.

—Я знаю, вам давно хотелось пуделя — вот вам пудель.... Какова собачка? а? — И, расставив свои огромные ноги, растопырив длиннейшие руки, согнув немного спину, он глядит вам в лицо и показывает обоими руками на косматую и грязную собаку, с глупейшими глазами. — А, каков? а? продолжает Мамонов: — на корабле привезен.... в Англии сто рублей заплачен.... Возьмите: дарю вам.... Я знаю, вам давно хотелось пуделя....

—Да помилуй, Мамонов! я терпеть не могу пуделей. С чего ты взял, что я желал иметь пуделя!

—Ну, и не нужно.... не отдам вам пуделя ... не дам, не дам.... не дам — и не просите! — И, вставив в один угол своего огромного рта, который при этом весь искривляется, тоненький деревяный чубучок с медной трубкой, Мамонов обертывается к вам в полоборота, смотрит на вас, через плечо, с язвительной улыбкой и продолжает: — отвезу его к барону М.: он мне даст за него такого выжлеца, что чудо!

А барону пудель нужен столько же, как и мне.

—Да ведь барон не охотник: откуда же возьмет он тебе выжлеца?

—Барон-то не охотник! Да у него дядя в Орловской губернии: барон оттуда выпишет для меня выжлеца глебовской породы, от Потешая и Заливы.... дочери мясоед вской Заливы и проч., и проч., и проч., и пошел рассказывать родословную своего будущего выжлеца.

Вот к этому-то чудаку и заехал я по дороге в Тарумовку. Он жил в саду у Ас. Я нашел Мамонова по брюхо в воде: он, с Магметом, ногайцем-работником, ловил рыбу в озере, образованном разливом Терека в нескольких стах шагов от этого сада. Не знаю, по каким правам—по праву ли сильного, или по праву primi occupandi — Мамонов присвоил себе озеро,— только он никому не позволял ловить в нем рыбу, а ловил лишь сам, ел, солил, дарил всем знакомым, кормил ею и нагайца своего, и даже собак. ..

—А! Николай Николаич! Вот славно! спасибо, что заехали.... А вот я покажу вам, какие у меня сазаны И Мамонов отправляется в садок, погружает в воду свои огромные руки, с засученными рукавами по самые плечи, долго копается в садке и наконец вытаскивает огромную щуку. — А, это не сазан, замечает он: — я угощу вас сазаном. — Мамонов бросает щуку в воду. Брызги летят ему в лицо; но он продолжает искать сазана, снова выпрямляется и вы-

таскивает, но опять не сазана, а сома. Сом вырывается и уходит в озеро. — Ан, ушла! кричит мой приятель. — Лови! Ахметка! лови!....

Но Ахметка, который остался среди озера один, с концом бредня в руках, смотрит очень хладнокровно на бегство сома.

Наконец, я увел Мамонова от озера домой.

—Чего хотите: чаю, водки, вина, арбуза, сазана, дыни?...

Но вот он успокоился и начинает говорить об охоте. Через несколько минут у нас уж и спор завязался, и вот по какому случаю. Несмотря на все удобства охоты в кизлярских садах, а может быть и по причине этих самых удобств, я не люблю ее. Когда я хожу по этим фруктовым аллеям, по этим чистым и правильным дорожкам, смотрю на эти хорошенькие домики, мне все кажется, что я не охочусь, а просто гуляю. То ли дело лес! Стоишь на дорожке. Ничто не шелохнется. Разве кое-где свистят синички, или высоко в небе плавает орел, изредка посвистывая, или сойка с шумом перелетит с дерева на дерево... и опять все тихо.... Но вот отозвалась собака, другая, — и пошла потеха... А тут, в садах, стоишь на дорожке да прислушиваешься к собакам, а подле тебя поют бабы, или армянин бранится с своим тамадей (выборным), или какая-нибудь Жучка, усевшись против тебя на крыше, лает с остервенением, так что ждешь, скоро ли она, проклятая, охрипнет или лопнет. Наконец, собаки гонят прямо на тебя.... ждешь—вот-вот выскочит... Глядишь, ру-

сак повернул, пролез где-нибудь чрез забор и очутился на дворе. Навстречу ему бросилась целая стая дворовых собак, сбила гончих, — и русак ушел. Ищи его!... Кроме того, в садах не может быть хорошего гона: по дорожкам, везде сбой, пыль, так что не успеют толкнуть русака, как он уже и на дорожке. Лиса и чекалка еще держатся несколько времени, лазят где-нибудь по чаще,—зато если прорвутся или пойдут ползать по хейванам, из сада в сад, то уведут собак Бог знает куда.

Мамонов знал это очень хорошо, но все-таки спорил до слез, что его Проворка никогда не собьется и станет гонять по садам с утра до вечера.

—Вот останьтесь: сами увидите. Завтра пойдем на охоту.... сейчас пойдем....

—Нет, я еду не медля.

—Ну, поезжайте себе смотреть, как мужики дворняшками свиней травят; а я уж не поеду с вами, ни за что на свете не поеду: чтобы моих собак там перерубили кабаны.... ни за что!...

—Да я и не зову тебя, я и собак своих не взял.

—Ну, уж и не зовите: не поеду, да и кончено!...

Так мы расстались с Мамоновым. Я обещал ему поохотиться с ним на обратном пути дня два в садах, и отправился. К вечеру я был в Тарумовке.

IV.

ТРАВЛЯ КАБАНОВ.

Это было в субботу. Хозяин, у которого я остановился, был охотник. Услыхав, что я приехал собственно за тем, чтобы посмотреть на их охоту, он с удовольствием вызвался все устроить к завтрешнему дню. Еще с вечера явилось ко мне несколько человек мужиков, которые сами предлагали итти с нами, во-первых, потому, что охота назначалась в воскресенье, а во-вторых, оттого, что я обещал ведро водки и вперед отказывался от своего пая. Даже охотников могло набраться слишком много; но мой хозяин Антип взялся быть распорядителем и принимал в товарищи только дельных охотников и, притом, с хорошими собаками.

—Откуда достаете вы собак? спросил я у моего хозяина.

—Откелева? отвечал он, с расстановкой. — Да мы нарочно для охоты держим своих собак. Ты думаешь, барин, что всякая собака пойдет за зверем? Ан, нет! Это тоже природой бывает. Вот еще покойник отец мой был охотник: так у меня еще его породы собаки остались — так

вот они и хорошие. Супротив моих собак ни у кого не будет! Разве у Балаша Хомки — тоже добрые псы, тоже хорошая порода....

—А я слыхал, что вы ловите собак в Кизляре, в рыбном ряду, заметил я.

—Бывает и это, отвечал Антип, ухмыляясь.— Да ведь это от нужды: ведь много, барин, собак пропадает, — право слово.... Иногда на такого зверя нападут, что собак пять, аль шесть перепортит.

—А людей не ранит?

—Нет, Бог миловал.... Покойника батюшку зверь обранил было, да легко: только ногу попортил.... да ничего — зажила....

Мы вышли из дому рано. Нас было самдесять; у каждого по две или по три собаки. Все охотники были в зипунах и поршнях; у каждого — нож или кинжал на поясе и сумка через плечо. Только некоторые имели ружья, — но что за ружья! Солдатский ствол с азиатским замком; винтовка с азиатским замком; почти во всех ружьях снасть была привязана разными ремешками; ложе непременно поколоно, и т. д. Между-тем, многие из этих ружей били порядочно, как я мог заключить из разговора хозяев их.

Впереди всех шли, калякая меж собой, Антип и Балаш, как видно, большие приятели. У первого, вместо всякого оружия, был штык, насаженный на древко; у Балаша — также штык, служивший ему вместо подсошки. За ними ехал я, на моем вороном маштаке; сзади, один за

другим, тянулись другие охотники, со своими собаками.... и что это за собаки! тут и красные кудлаши, и ублюдки от гончих и лягавых, и поджарые выборзки, и остроухие какие-то шавки. Мне было и смешно, и совестно, и даже досадно итти на охоту с такой стаей. Что, если бы сам Мамон, этот педант охоты, этот Немврод кавказских лесов, или даже приятель мой М. увидали меня!...

Но вот мы вышли из деревни и стали огибать сады. Справа у нас расстилалась степь, покрытая туманом, который только что, местами, начинал подыматься. Чахлые кусты обожженного терновника, с дрожащими каплями утренней росы, казались нам исполинскими деревьями. Было еще темно. Только белая полоса света шире и шире расстилалась до востока по небу, более и более бледневшему. На противоположной стороне, волокнистые облака окрасились в бледно-розовый цвет. Звезды уже утонули в голубом небе: месяц казался каким-то матовым пятном. Петухи без-умолку горланили в деревне. На степи стрекали стрепеты, со свистом то подымаясь к небу, то опускаясь на землю; кой-где попарно играли журавли. Изредка перебегал нам дорогу запоздалый заяц, торопясь из степи в сады.... Я и не заметил, как мы перешли их и очутились в степи. Перед нами бегали хохлатые жаворонки и кургузые перепелки, неохотно подымаясь у нас из-под ног. Впереди слышался какой-то неясный шум.

—Что это такое? спросил я Антипа.

—Это птица в камышах гудёт.

Мы приблизились к камышам. Теперь я ясно различал гоготанье гусей, крик лебедей, диких уток и множества других, незнакомых мне, птиц; между тем, жаворонки пели все громче и громче, перепела били чаще и чаще, подле нас, в траве, трещал коростель, а высоко в небе блеял бекас. На востоке показалась кровавая полоса и осветила верхушки камыша: это была заря. Вдруг от нее, как огненный шар, отделилось солнце, лучи его, пробившись в нескольких местах сквозь туман, светлыми полосами рассеялись по небу. Там, где они пересекались с облаками, облака как будто разорвались и показался клочок неба, но не голубой, а светло-зеленый, точно он отражал в себе зеленую степь, которая теперь, покрытая росой и освещенная солнцем, ярко блестела матовым и изумрудным цветами. На каждой былинке, на каждом бурьяне висела правильная концентрическая сеть паутины, на которой сверкали алмазные капли росы. Фазаны в камыше приветствовали солнце громким тордоканьем; журавли, стрепеты, перепела, как будто воодушевленные, кричали и пели громче и громче.... Солнце поднялось. Утро было прекрасное....

Мы вошли в высохшее болото-кочкарник, поросший густым чаканом, осокой и редким камышом. Из-под ног у нас беспрестанно вырывались или заяц, или фазан. Собаки сперва с лаем гонялись за ними, но потом, не видя в этом успеха, перестали бегать и только жадно

провожали их глазами. Я заметил одну черную, лохматую брудастую собаку, с подпалинами на бровях и с косматым хвостом, лежавшим кольцом на ее спине. Эта собака отличалась особенным хладнокровием, — даже, можно сказать, чувством собственного достоинства. Важно, ни на что не обращая внимания, шла она по пятам своего хозяина—Хомки Балаша.

—Что, это старая собака? спросил я.

—Жук-то? старый! неохотно отвечал Балаш, видимо опасаясь, чтобы я не ошпал (сглазил) его.

Мы вошли в камыш, который делался все гуще и гуще, — наконец остановились: тропка сделалась почти непроходима.

—Слышь-ка, Балаш! сказал Антип: - поди-ка к Черному Протоку, да посмотри, нет ли по траве следа.

—Ну, Жук, пойдем, старый! промолвил Балаш и полез в камыш.

Жук и еще серенькая сучка, замечательная тем, что одно ухо у ней не висело, а, лучше сказать, лежало горизонтально, между тем как другое перпендикулярно торчало вверх, — оба они побежали за своим хозяином; а мы остановились и стали прислушиваться. Сперва слышно было только, как взрывались разные птицы из-под ног Балаша; потом раздался его голос: „Пускай собак!“ — на что один из охотников отвечал выстрелом из ружья,—и целая туча разных птиц с шумом поднялась из камыша и криком своим на минуту заглушила голоса

охотников. „На мю, мю, мю! Ату! Мотри, держи! Узи его!“ кричали охотники. Собаки, с радостным визгом, разбежались по разным направлениям, а мы, вытянувшись в нитку, стали потихоньку подвигаться вперед. Вдруг одна собака брехнула раза два на месте; другие, с голосом, подвалили к ней и тоже стояли на месте.... „Кабан!“—закричал Антип и бросился бежать. Не успел я оглянуться, как очутился совершенно один. Толкнув лошадь, стал я целиком ломиться туда, откуда доносился до меня лай. Я уже слышал, как зверь гонял за собаками, фыркал, отдуваясь и щелкая зубами. Изредка то та, то другая собака, задетая кабаном или просто испуганная, болезненно взвизгивала; другие страшно заливались и все ближе и ближе подступали к зверю. Но, сколько ни подымался на стременах, я ничего не видел, кроме махалок камыша, которые так и ломались под ногами тяжелого зверя. Я хотел подвинуться еще....

—Стой, барин! закричал мне Антип, который, уже не знаю как, очутился подле меня. Это—кабан: пожалуй, лошадь срубит. Я остановился. В это время кто-то выстрелил.

—Что, попал? спросил я.

—Какой попал! это Балаш вверх стреляет, чтобы собаки дружней брали.

—Узи его! закричал Антип.—Зверь от выстрела пошел было в ход; но собаки сейчас же остановили его. Вдруг одна из них, вся в крови, с визгом покатилась под самые ноги моей лошади,

и вслед за ней высунулась из камыша огромная башка кабана. Испуганная лошадь бросилась в сторону. Я оглянулся на Антипа: он стоял прямо против кабана. „Ну, плохо!“ подумал я. Между тем, собаки схватили зверя сзади, и он быстро обратился к ним. Еще одна собака завизжала и поползла прочь, оставляя за собой кровавый след. „Пропал Серко!“ сказал Антип, бросился на кабана сзади и ударил зверя штыком в бок. Собаки с остервенением бросились на животное и уже не лаяли, а рычали хриплым голосом. Изредка, то одна из них, то другая, оторвавшись, взвизгивала, взвывала или глухо брехала и снова вцеплялась в зверя, который, впрочем, продолжал итти, буквально таща на себе собак. Вдруг он споткнулся и упал, — собаки сели на него, а Антип еще раз ударил зверя в бок. Кабан все еще подымал голову и щелкал зубами, стараясь поддеть какую-нибудь собаку. С противоположной стороны прибежал другой охотник и хотел ударить зверя ножом, но тот поднялся на передних ногах и пополз прямо к смельчаку. Охотник отскочил в сторону и, запутавшись в камыше, упал. Между тем, Антип успел ударить кабана еще раз, а тот все полз вперед. Тогда другой охотник вскочил, воткнул в бок зверю нож: кабан упал и уже не вставал более. Все это сделалось так быстро, что я даже не успел выстрелить, ежеминутно опасаясь попасть или в собаку, или в человека.

Мы собрались около убитого зверя, и каждый хотел оторвать от него своих собак и ос-

мотреть их раны: оказалось, что все собаки были ранены, но легко, исключая одной, убитой наповал, и другой — именно Серко, у которой распороно брюхо. Антип положил Серко к себе на колени и начал вправлять ему кишки. Бедное животное лизало то свою рану, то руки хозяина, но не визжало, хотя по глазам и видно было, что оно страшно страдает. Антип перевязал рану какой-то тряпкой, взял Серко на руки и пошел.

—Далеко ли? спросил его Балаш.

—Да пойду на поляну, там перемою ему черёво и зашью раны.

—Ну, ладно, сказал Балаш: — а мы, ребята, пойдем к Черному Протоку, там целый гурт перешел на эту сторону, прибавил Балаш, встал и, свиснув собак, пошел в камыш.

Я поехал за ним. Собаки бежали впереди, рыская взад и вперед. Вдруг одна из них отозвалась, другие бросились к ней, и вся стая пустилась по следу. Я направился за ними. Ехать скоро по густому камышу было нельзя, и Балаш не отставал от меня ни на шаг. Собаки, остановясь, брехали на месте.... и вдруг раздались в стороны, — и огромная свинья бросилась прямо под ноги моей лошади; но я опять не успел выстрелить, как собаки уже сидели на звере. Балаш приколол свинью и начал отбивать собак.—„Ступай вперед, да мани собак!“ кричал он мне.—„Тут целый гурт“.—Не успел я от‘ехать на несколько шагов, не успели собаки опередить меня, как они уже схватили большого кабанчика. Но и на этот раз не удалось мне

выстрелить! Когда я под'ехал, собаки уже растянули назимка, который страшно визжал. Балаш прирезал и этого.

—Иди сюда... ааа! раздавался налево голос Антипа. — Зверья пошли в Круглое... Скорее... веди собак.

Я поскакал по направлению, которое он мне указывал. Собаки побежали за мной. Скоро я догнал Антипа,у ног которого лежал раненныйСерко.

—Сюда, сюда,барин! Гурт такой прошел! чуть с ног не сбил меня!... Вот ту, ту, тут! тут! кричал Антип, нагнувшись над седлом и поманивая собак, которые, опустив морды и задрав хвосты, одна за другой неслись по следу, мимо него. Я ехал за собаками, а Антип бежал за мной, забыв про своего Серко, который, лежа в камыше, жалобно визжал. Камыш делался все реже и реже, зато грязь все глубже и глубже. Наконец показалась вода. Собаки продолжали бежать вперед. Вдруг предо мной открылось озеро, или, лучше сказать, разлив, посреди которого стоял круглый островок густого камыша. Разлив был не глубок. По черной грязи, резкой полосой отделявшейся от прозрачной поверхности воды, видно было, что свиньи только что перескочили на остров. Собаки бросились вплавь. „Пошел! пошел! тут не глубоко!“ кричал мне Антип, на бегу снимавший поршни, портянки и штаны. По противоположному берегу, один за другим, бежали охотники, — впереди всех — Балаш, без шапки. Целая туча диких уток, куликов, караваек и рыболовок, испуганная тревогой, с криком носилась над нами.

Я переправился на остров; но камыш сам был так густ, что, заехав в середину, я не мог повернуться ни направо, ни налево, а между тем слышал, как против меня лаяли собаки и хрюкали свиньи. Но вот один из охотников, найдя какую-то тропку, очутился впереди меня. Он выстрелил в табун. Свиньи пошли в ход, но на противоположном берегу встречены были залпом. Одна свинья осталась в воде, другая бросилась вплавь вдоль по разливу, собаки за ними и около самого берега настигли и остановили еще одного зверя. Это был кабан, двулеток, пуда в три, или в четыре. Кой-как выбравшись из камыша на опушку, я видел, как зверь, сидя на заду, зашищался против пяти собак, державших его за уши и шею. Другие собаки погнались за остальной стаей, которая выскочила на берег немножко ниже. Охотники тоже побежали туда, и скоро я услыхал визг: собаки поймали еще кабана. Между тем, Балаш преспокойно сидел на берегу и разувался, а разувшись и засучив шаровары, так же покойно побрел к кабану, которого все еще держали собаки, прирезал его и, продев ему под клыки веревку, вытащил на берег.

Охота кончилась. Хотя мне ни разу не удалось выстрелить, но я все-таки остался доволен, что видел и имел понятие об этом оригинальном роде охоты.

Вообще, стоит посмотреть на нее. Но настоящему охотнику, для которого количество мяса, добытое охотой, не составляет главной це-

ли, понравиться она никак не может. Во-первых, охота эта очень утомительна: для того, чтобы ходить — не только бегать — по этим камышам, топким разливам, грязным тропкам, грудам старого, переломанного, перепутанного камыша, по пожарищам, где острые камни режут вам ноги, как ножом, — на все это надо иметь большую привычку. Во-вторых, кроме выгоды, то-есть количества добычи, в охоте этого рода очень мало привлекательного. Мужики, с собаками, идут в камыш, как в свой собственный загон: они вперед уверены, что найдут кабана, а если найдут, то и возьмут его. Они обыкновенно стараются напасть на стаю назимков, свиней и поросят: это верная добыча, которая вознаграждает их труды. Одна только возможность напасть на большого — чего, впрочем, стараются избегать, потому что он может перепортить собак и даже ранить охотника, — одна эта возможность представляет некоторый интерес в охоте, только что описанной мной. Но для охотника, который дорожит своими собаками, не собирает их с улицъ и около рыбных рядов, интерес этот очень не заманчив. Найдутся, конечно, господа, которые скажут, что именно опасность-то и привлекательна, что они не понимают удовольствия убивать несчастных зайцев, куропаток, красивых фазанов, даже серн и оленей, этих прекрасных, смирных и безоружных животных. То ли дело волк, бросающийся на вас с разверстою пастью, кабан с своими страшными клыками, медведь, готовый

задушить вас в своих железных лапах, наконец барс, который одним скачком, одним ударом лапы отправляет вас в вечность, — вот истинная охота, вот благородное занятие: тут есть борьба, опасность, здесь нужна и ловкость, и сила, и храбрость! На этого рода возгласы и рассуждения я мог бы отвечать много, но скажу только одно: кто говорит так, тот не охотник!.. Для настоящего охотника в самой охоте столько завлекательного! Желание взять дичь, за которою он охотится, чувство до того исключительное, что отымает у охотящегося возможность думать о чем-либо другом: в это время опасности для него не существуют, он не сознает, не понимает ее, и потому она не в состоянии придать охоте никакого интереса. Спросите охотника, когда он травит зайца, охотника с ружьем, когда собака его сделала стойку или когда гончие гоняют, а он стоит на лазу, даже охотника с сетью, когда перепел отозвался на его вабенье и приближается к нему, — спросите их, есть ли, и даже может ли быть у них в это время какая-нибудь другая мысль, кроме желания затравить, убить или поймать дичь,—спросите, и каждый из них ответит вам: «нет!» Если желание убить или поймать несчастного (обычное выражение не охотников) зайца или перепела так сильно и исключительно, то очень ясно, что на охоте за кабаном или медведем охотник непременно забудет об опасности. Страсть к охоте и желание взять зверя уничтожит даже самое сознание этой опасности...

V.

КОННАЯ ОБЛАВА.

Зимняя охота за кабанами.

Охота составляет одно из любимейших занятий кавказских жителей; но для азиатца, который половину своей жизни проводит верхом, первое, необходимое условие охоты — конь. Охота для него — один из видов наездничества, род молодечества, джигитства. Охотится ли кавказец за птицей, — с ястребом или соколом, с борзыми или с ружьем, — за крупным зверем, он всегда верхом. Редко кто-нибудь охотится пешком. Обыкновенно это какой-нибудь байгуш, охотник по промыслу и, вместе с тем, по страсти, который, не имея средств завести коня, стреляет зверя на сиденке или ставит капкан на лаз или порешень. Так охотятся все так называемые горцы, то-есть жители Нагорного Дагестана, Тушетии, Осетии и вообще племена, живущие по главному Кавказскому хребту, где местность и недостаток фуража делают невозможным содержание и употребление лошади, где лошадь — роскошь.

Вообще, горная охота — самая бедная, однообразная, неблагодарная и самая трудная.

Подкараулить тура или лису, застрелить горную индейку, турача или горную курочку — вот верх удачи. А сколько трудов и опасностей соединено с этой охотой, где целый день надо лазить по скалам и пропастям, иногда ночевать в горах, под навесом скалы или на дне пропасти! Несмотря на это, горцы почти все охотники. Они с малолетства свыклись с этими трудами и опасностями, и охота — один из любимых их промыслов.

Охоту на Кавказе можно, по местности, разделить на три главные разряда: горную, степную и лесную. Под лесной охотой должно разуметь все роды охоты, употребляемые на плоскостях, в долинах, предгориях и лесистых горах Кавказа и Закавказья. Местность эта так разнообразна, так богата всеми возможными породами дичи, что описать все виды охоты, употребляемые здесь, почти нет возможности. Я постараюсь дать понятие только о некоторых, где я сам участвовал, или описания, слышанные мной от очевидцев. Степная охота — совсем другое дело. Отличительный характер ее, как и вообще степной местности — однообразие; зато самое это однообразие, которое исключает почти всякую случайность, есть одна из причин, почему степная охота — почти самая правильная из всех родов охоты, не только на Кавказе, но и везде. Охота для степных жителей — не только способ к пропитанию, не только выгодный промысел, но вместе с тем любимое занятие, единственное развлечение в однообразной жиз-

ни; искусство, познание которого составляет для степняка почти необходимое условие существования, — искусство, которому он посвящает едва ли не всю жизнь, которым он гордится, в котором полагает свою честь и даже славу. Главные виды степной охоты: охота с борзыми — за зверем, и охота с ястребами и вообще с ловчими птицами — за птицей. Оба эти рода охоты подчинены неизменным правилам, изучение которых составляет целое искусство, и искусство, доведенное жителями степей до возможного совершенства. Другого рода охоты, как-то: охота посредством капканов, ружейная охота, конная облава — за сайгаками, волками и другим крупным зверем — охоты случайные.

Но конная облава особенно любима вообще всеми туземцами Кавказа. Она употребляется преимущественно против крупного зверя, чаще всего на кабанов. Самое удобное время для нее — зима, и особенно снежная, когда большой снег мешает зверю бежать.

Такой зимы на Кавказе, как с сорок-седьмого на сорок-восьмой, не запомнят и старожилы. В декабре месяце этого года мне случилось участвовать в охоте за кабанами. Накануне дня, назначенного для охоты, мы, то-есть князь Ар..., один мой товарищ и я, переехали из станицы в Хамар—Юрт, деревню Арх..., и остановились у его кунака. С вечера явились охотники; им роздали пороху, и они обещали нам убить завтра, по крайней мере, штук двадцать кабанов. Пока князь разговаривал с ними

по-кумыцки, я, покуривая из маленькой трубки и поправляя огонь, наблюдал за игрой физиономий будущих наших товарищей по охоте. Все они, как это обыкновенно бывает у азиатцев, говорили очень чинно, не прерывая друг друга, сохраняя важный вид и не выпуская изо рта трубок, только изредка, чрез зубок, поплевывая в огонь. Видно было, однако ж, что разговор шел оживленный.

— О чем вы толкуете? спросил я.

— О завтрашней охоте, отвечал он.

— Ну что ж?

— Они говорят, что кабанов очень много: охота будет превосходная, особливо, если с нами пойдет Гирей-хан.

— Кто это такой Гирей-хан?

— Это лучший стрелок из всего аула и превосходный охотник.

— Отчего ж он не пришел?

— Его нет в ауле; но вечером он приедет и, только услышит об охоте, завтра явится первый, с своими собаками. Я уже распорядился, чтобы его домашние сказали ему об этом.

— А если он не явится?

Не отвечая на такой вопрос, князь начал говорить с татарином, сидевшим подле меня.

— Тогда вот он поведет нас, сказал князь: — он тоже знает места.

Я вопросительно взглянул на моего соседа, который, вынув из зубов трубку, обратился ко мне почти скороговоркой, стараясь, собственно для меня, выражаться как можно яснее и для

того беспрестанно трогал меня одним пальцем по плечу.

— Донгуз [1]) коп... ровно-ровно-баранта... туда-сюда ходил... твоя увидит... твоя тюмбек [2]) якши коп [3]) уруби...

Речь эта произвела удивительный эффект. Все присутствующие смеялись, вероятно, над усилиями моего соседа об'ясняться со мной.

Однако, нисколько не смущаясь, он продолжал разговор.

— Твоя уруби? спросил я.

— Уруби, отвечал он, утвердительно кивая головой.

— Якши?

— Якши!

— А Гирей-хан якши уруби?

— Пих! отвечал сосед и, вставив в зубы тоненький чубучок своей трубки, уже давно потухшей, стал глядеть на огонь.

Но я понял, по выражению, с которым сказал он это пих, что он очень высокого мнения о стрельбе Гирей-хана.

Между тем сделалось темно, принесли огня, и гости наши разошлись после обыкновенных приветствий. Остался один старичок, с маленькой, подстриженной и красной бородой, вероятно, из почетных. Пока князь разговаривал с ним, товарищ мой давно спал, свернувшись на подушках, в главном углу. Хозяйка стала при-

---

1) Кабан.

2) Табак.

3) Степь.

готовлять все к ужину, — сперва вымыла пол перед камином, поправила огонь. Наконец, сам хозяин подал нам умыть руки и после этой операции поставил перед нами низенький стол, или, лучше сказать, поднос, покрытый тонким чуреком (хлеб); потом, разорвав чурек на четыре части и снова положив эти куски на поднос, он поставил перед нами блюдо с пловом, тарелку с копченой и разварной бараниной и несколько кусков шашлыка. Разбудив Т., мы начали наш ужин. Хозяин, разумеется, не принимал в нем участия, даже не садился, а стоял все время у дверей, изредка вмешиваясь в разговор между князем и красным старичком, который был, кажется, большой весельчак. По крайней мере, он говорил без умолку, — говорил и смеялся, а слушатели хохотали, не исключая и меня, хотя я не понимал ни слова из его рассказов: смех всегда действует на меня заразительно. А лицо веселенького старичка, с его красной бородкой, огромным беззубым ртом, было так оригинально, дышало такой простодушной веселостью, что я очень сожалел о моем незнании кумыцкого языка.

— Он будет с нами на охоте? спросил я князя, который тотчас же обратился с этим вопросом к старичку и расхохотался на его ответ.

— Он говорит, что непременно поехал бы, да боится проспать, потому что у него молодая жена красавица.

— А разве он женат?

— Разумеется. И жена его гораздо моложе его.

Старик, между тем, разговаривал с хозяином, беспрестанно смеясь и показывая нам места, где, лет десять назад, у него были зубы.

— Что говорит он? спросил я.

— Он рассказывает, что жена его очень ревнива, и просит хозяина, чтоб он поволочился за нею, обещая ему променяться женами, и требует жеребенка в придачу: хочет ехать в Персию и купить себе еще другую жену...

Между тем, ужин кончился, старик ушел; а мы разлеглись спать на мягких перинах, при свете камина, куда хозяин натаскал целый костер сухих дров. Мороз был сильный, и холод разбудил меня очень рано. Дрова в камине перегорели. Тлелось только несколько угольев. Хозяин раздул их, принес новых дров, — веселый огонек запылал снова, и мы опять уселись перед камином. Наши охотники уже собрались; но выезжать было еще рано: мы ждали, пока на дворе немного обогреется. Наконец, солнце поднялось довольно высоко, и, часу в девятом, мы выехали. Гирей-хан еще не приехал; но он присоединился к нам за воротами. Это был старик лет пятидесяти, очень красивый. Он сидел на довольно плохенькой лошаденке, за которой бежали три дворняшки. В руках Гирей держал крымское ружье. Я не мастер стрелять из ружья с лошади, а потому, взамен его, взял пару длинных пистолетов, заказанных мной нарочно для конной облавы. У Т. было двуствольное

ружье, у князя — винтовка. Всего было нас двенадцать человек.

Верстах в пяти от деревни начинался камыш, в котором мы намеревались охотиться. Его желтые махалки расстилались перед нами, как золотое море; кое-где, словно острова, торчало несколько деревьев. День был ясный, и горы резко обозначались на голубом небе. Мы разделились на две партии: князь, Т., три татарина и я остались на опушке; Гирей-хан с собаками и остальные охотники в‘ехали в камыш. Не успели их черные папахи скрыться из глаз, как собаки подняли кабанов, раздались крики: „ги! ги! ма! ма! донгуз!"

Князь поскакал по направлению, откуда слышались крики: я — за ним. Камыш был так густ, что я, с непривычки, с трудом поспевал за ним. Князь выстрелил, и я слышал, как зверь поворотил влево; но охотники, гнавшие кабана, перерезали ему дорогу. Через несколько минут раздались два выстрела, и, когда я подскакал, кабан лежал уже убитый. Собаки, при одобрительных криках охотников: „ма! ма!", с остервенением рвали щетину зверя.

— Кто убил? спросил я.

Мне указали на Гирей-хана и на убитое животное: пуля попала ему между правым ухом и глазом.

— Его всегда так уруби. Другой место его не надо! сказал мой вчерашний собеседник.

Я взглянул на Гирей-хана, прочищавшего свое ружье.

— Туда гайда: там донгуз есть, сказал он мне, показывая рукой в ту сторону, где на опушке остался Т. с тремя охотниками.

Действительно, слышно было, как там гонят что-то. Я поскакал; вскоре за мной и Гирей-хан. Пока мы ехали камышом, он ровнялся со мной; но когда мы выбрались на опушку и я увидел четырех больших кабанов, которых, в чистом поле, гоняли охотники, я толкнул лошадь и далеко за собой оставил Гирей-хана на его кляче. Он, впрочем, лучше сделал, что отстал от меня: лишь только стал я присоединяться к охотникам, как кабаны, видя, что их догоняют, снова повернули к камышу; но тут Гирей-хан пересек им дорогу, выстрелил, и один кабан покатился через голову, остальные бросились в камыш. Мы скакали их следом, — впереди Гирей-хан, за ним ровнялись я да Т., за нами — остальные охотники. Кабаны, пробежав несколько времени, остановились. Гирей-хан, на скаку, уже успел зарядить ружье, выстрелил, и еще один кабан растянулся, раненный между глазом и ухом. Остальные, после выстрела, пошли шагом. Я догнал одного кабана и выстрелил ему взад: зверь подкинул задом и пошел дальше. Поспешно вынул я другой пистолет; но один из охотников, очутившийся справа, предупредил меня: от его выстрела кабан упал, как мертвый, но очень скоро поднялся на ноги. Тут уже я выстрелил из пистолета: зверь сел на зад, но продолжал стоять на передних ногах. Товарищ мой, между тем, зарядил ружье и стал

заезжать ему спереди... Вдруг кабан вскочил и бросился на охотника, так что он едва успел отворотить лошадь и выстрелил на удачу. Кабан опять пошел в ход, но наткнулся на Гирей-хана, который попал ему под переднюю лопатку: зверь был мертвый. Другой кабан, который пошел налево, был тоже застрелен.

Убитых зверей стащили на маленькую полянку. Первый кабан, убитый Гирей-ханом, и тот, по которому я стрелял, были старые секачи, остальные две — свиньи, и один двулетний подсвинок. Мы с Т. смеялись, смотря, как хлопотали татары, чтобы прорезать кабану хрюк и продеть ремень, не касаясь нечистого животного руками. Наконец мы сами взялись помогать им, и дело пошло скорее. Мы предлагали и князю принять в нем участие; но он не согласился, даже не хотел дать своего кинжала, боясь прослыть гяуром между своими единоверцами. Впрочем, он об‘явил, что, если ему удастся самому, без посторонней помощи, убить зверя, он не только сам прорежет ему хрюк и проденет ремень, но даже вытащит кабана на своей лошади. Гирей-хан, немного понимавший по-русски, отвечал что-то по кумыцки. Князь засмеялся и перевел нам его выражение: „Гирей-хан говорил, что Бог, верно, не захочет, чтоб я опоганил свой кинжал, и, для спасения от греха, не допустит мне убить зверя одному“.

Между тем, мы слезли с лошадей, чтоб дать им несколько отдохнуть. Татары проворно расчистили снег, набрали сухих камышей, раз-

вели огонек, закурили трубочки и весело болтали. Выпив водки, мы подошли к их кружку. Гирей-хан что-то с жаром рассказывал. Я просил князя быть толмачем. Гирей рассказывал, как на этой поляне, он, однажды, убил семь свиней. Свиньи выскочили из камыша и побежали вдоль поляны. Гирей гнался за ними вплоть и, пока они добежали до другой опушки, не переставая гнать их, успел выстрелить семь раз.

— И зарядить, прибавил я.

— Да, и зарядить. В том-то и штука!.. Вот эти люди были свидетелями.

Татары, на которых показывал князь, утвердительно кивнули головой. Я взглянул на поляну: это была узкая лощина, с обеих сторон окаймленная густым, как стена, камышом, длиной не более полуторы версты. „Пих!" сказал я невольно, между тем, как Гирей-хан продолжал рассказывать что-то с жаром, часто показывая на мою лошадь.

— Он хвалит вашу лошадь, сказал князь:— и говорит, что если б он был на ней, а не на своей, то убил бы сегодня вдвое больше.

— Если вы прикажете кому-нибудь дать мне лошадь, я с охотой отдам мою Гирею. Пусть он при мне сделает штуку, о которой вы рассказываете.

Гирей-хан отвечал на это, что он убьет и больше, если я возьмусь выгнать кабанов на то место, где ему будет удобно стрелять. Впрочем, я согласился уступить Гирею мою лошадь, а

сам сел на другую. Татарин же, у которого я взял лошадь, сел на гирееву лошаденку и отправился в аул за арбой; а мы поехали дальше. Не успели мы проехать несколько времени камышом, как снова подняли кабанов... опять лай, крик и выстрелы... Мы рассеялись по камышу... Я ехал едва заметной звериной тропой, как вдруг что-то перескочило чрез нее. В полной уверенности, что это кабан, я бросился за ним, проскакал уже с версту, зверь все шел передо мной. Камыш стал редеть, и я приближался к окраине. Удар плетью – и я выскочил на опушку. По гладкой поверхности степи, заломив на спину рога, несся огромный олень. Я за ним; но он стал отделяться от меня так быстро, что я тотчас увидел невозможность догнать его. Я остановился... и как досадовал, зачем отдал мою лошадь!.. Я стоял и прислушивался, стараясь узнать направление, которое приняла охота; но ветер был от меня, и я слышал только, как шумел камыш... Вдруг треск, и не успел я вынуть из-за пояса пистолет, как стая кабанов, штук в тридцать, бѣжала мимо меня. Я выстрелил, почти не целясь, еще выстрелил и оба раза неудачно. Тяжелые звери подкидывали задом, неслись довольно быстро, когда вслед за ними выскакал из камыша Гирей-хан. Пока я зарядил свой пистолет, он, ни на волос не укорачивая шагу, успел выстрелить три раза и три раза зарядить свою винтовку. После каждого выстрела один из кабанов оставался на месте мертвым! И я уже больше не раскаивался,

6*

что уступил Гирею мою лошадь. После последнего выстрела, почти в упор, повалившего огромную свинью, которая шла впереди всех, кабаны круто повернули в камыш. Лошадь пронесла Гирей-хана, и кабаны уже уходили в камыш, когда я выстрелил по ним также почти в упор и ранил одного. Он начал отставать и наконец остался на поляне без своих товарищей. В это время Гирей, успев остановить и повернуть лошадь, выстрелил, но, вероятно, видя, что кабан уходит, поторопился: зверь не лег на месте, а, споткнувшись раза два, вскочил в камыш. Гирей-хан стал называть собак, а я заряжать. Откуда взялись собаки, не помню, только они с лаем бросились по следу раненного зверя, а когда мы под'ехали, они уже рвали его. Моя пуля попала кабану в бок и вышла на вылет, Гиреева — под переднюю лопатку. Остальные кабаны, убитые им, все были ранены между ухом и глазом. Пока мы вытащили этого кабана на поляну, выехали и другие охотники. Наконец явился и князь. Он тащил огромную свинью, ремнем привязанную к хвосту его лошади. Предсказание Гирей-хана не сбылось: ему удалось одному, без посторонней помощи, убить зверя.

Солнце уже садилось, когда мы возвратились в аул...

VI.

ОХОТА ЗА КОЗАМИ И ОЛЕНЯМИ.

В том же году пришлось мне случайно видеть охоту на коз, очень для меня памятную. Это было в отряде. Мы шли из-за Кал-Юрта к Казакачам, по левую сторону Сунжи. Вышли мы довольно рано. Туман только что подымался. Я обратил внимание на группу черных точек направо от отряда.

— Ведь это неприятель? спросил я у солдат.

«Кажется, неприятель», отвечали мне. Я стал смотреть на эту мнимую партию. Голова нашего отряда уже поровнялась с ней, а она не шевелилась. «Да это кладбище», сказали солдаты, что и действительно было так.

— А вот это так не кладбище, говорил один из офицеров, ехавших подле орудий, показывая влево, где также виднелась какая-то черная масса, но уже движущаяся.

Она все более и более приближалась к авангарду, от которого отделилось несколько человек конных, поскакавших по направлению партии.

— Сейчас начнется потеха! сказал я.

И действительно, раздалось несколько ружейных выстрелов. Партия направилась мимо отряда к нам. Вдруг крик: «козы! козы!», и мы увидели, что приняли издали за партию неприятелей огромный табун диких коз. Не только мне, но даже старым охотникам, как они говорили, не случалось видеть такого огромного табуна: коз было, по крайней мере, тысячи полторы.

Все верховые понеслись навстречу неприятелю этого нового рода. Бедные животные почти не могли бежать, острые копыты пробивали череп, который резал им ноги. Их стреляли, рубили шашками, загоняли в самый отряд, так что даже пехотинцы закололи несколько коз штыками. Я вскочил в самую средину большого косяка. Ружья у меня не было, а о шашке я совсем забыл. Козы стали кругом моей лошади. Наконец косяк разбили на две партии, из которых одна побежала прямо на отряд и была встречена чуть не батальным огнем. Но только одна коза осталась на месте, другие рассыпались по степи, несколько коз бросились на отряд и проскочили между повозками и людьми. Скачка и стрельба продолжались во все время перехода, так что когда мы подошли к Казакачам, то почти все казаки, милиционеры и офицеры вели своих лошадей в поводу; многие из лошадей были ранены, почти все перерезали себе ноги. Казалось, будто отряд вышел из жаркого кавалерийского дела. Зато на каждой повозке, на орудиях, в тороках у казаков,—везде виднелись убитые козы.

Под конец перехода, жалея лошадь, я ехал шагом около отряда и любовался на эту импровизированную охоту. Я подметил несколько превосходных выстрелов и лихих ударов. Недалеко от меня, кто-то с одного удара шашки разрубил козу пополам, ударив ее по пояснице, так что обе половинки держались, после удара, только на одной брюшной коже. Зато сколько было и неудачных ударов! Многие, вместо козы, попадали по лошади; другие, на всем скаку, опрокидывались с лошадью. Однакож все кончилось благополучно: никого из людей не ранили, никто не ушибся опасно, что легко могло случиться в этой сумятице. Хорошо еще, что не пришлось встретиться с какой нибудь неприятельской партией: многие в отряде, увлекшись погоней за козами, ускакали даже за несколько верст и неоднократно совершенно скрывались из виду, так что чеченцам легко было овладеть ими, и мы хватились бы этих господ разве только в Казакачах, куда и пришли вечером.

Зимой коз редко находят в степи: обыкновенно, на это время они уходят в лес. И если мы застали такой огромный их табун на левой, то-есть степенной стороне Сунжи, то это по причине больших снегов, выпавших в декабре месяце в Чечне и заставивших коз перекочевать из лесов в степь. Доказательством этому служило то, что все убитые нами в этот день козы принадлежали к породе лесных.

На Кавказе водятся две породы коз: степная и лесная. Первая гораздо больше и силь-

нее. Летом шерсть на них несравненно темнее, почти бурая, зимой — такая же серая, как на лесной. Она преимущественно держится на плоскости в степях, камышах и бурьянах, или попадается в лесу, но не в большом, а в от'емных островах, которые примыкают к степи, или к опушке. В горах степных коз совсем нет. Лесная коза, напротив, водится в горах и в больших лесах. Она меньше, слабее, зато гораздо быстрее степной. С гончими ее трудно выгнать на опушку; а если застанешь ее в поле, она бежит к лесу. Напротив, степная коза в лесу под гончими долго не держится, а идет в опушку, если ж застанут ее в поле, она, надеясь на свою силу, идет вдаль. Поэтому с конной облавой можно охотиться только за степными козами, и лучшее время для этого—лето. Во первых, потому, что осенью и зимой козы держатся, обыкновенно, или около опушки лесов, или в больших, так называемых теплых, привольных местах; а весной, когда козы котны или с детьми, они также предпочитают крепкие места и только летом ложатся в степных бурьянах. Во вторых, в жар коза лежит очень крепко и не может бежать долго, потому что скоро утомляется. Оттого облавой ходят за козами обыкновенно в самый жар, около полудня.

Однажды, приехав в гости к одному знакомому мне кабардинцу (в Большой Кабарде), князю Адьеку Наврузову, я участвовал в такой охоте. Князь, зная, что я большой охотник, хо-

тел угостить меня ею; но был июнь месяц — самая глухая пора для охоты; птица линяет, следовательно с ястребом и соколом ездить нельзя, — с борзыми тоже, потому что жарко. Оставалось одно—охотиться за козами. Вот мы и отправились. До места охоты было верст десять: поэтому мы выехали часу в девятом и ехали большим шагом. Вправо от нас виднелся Боксан, окаймленный зеленым кустарником. Изредка, где-нибудь на изгибе, показывались его быстрые воды, которые, словно радуясь, что вырвались из крутых берегов и густой тени нависшего над ними кустарника, весело блестели на солнце. Влево тянулись волнообразные холмы, покрытые желтой, выгоревшей травой. Кое-где на них лепился кустарник или высовывалась причудливая скала. За этими холмами медленно ползли серые облака, то спираясь и клубясь, как в котле, в каком-нибудь ущельи, то змейками расползаясь по вершинам холмов. Из-за облаков торчали зубцы снежных гор.

Вдруг, на вершине одного из холмов, показалось стадо оленей. Правильные контуры красивых животных резко отделялись на синем небе. Их было штук восемь, нас же, охотников, человек двенадцать. Мы тотчас же разделились на две партии. Князь, с большим числом охотников, бросился обскакивать холм, а я, с тремя человеками, остался на месте. Соскочив с лошадей, мы засели в кустарник, у подошвы горы. Один охотник остался при лошадях. Князь, со своими охотниками, давно уже скрылся в уще-

льи. Мы не спускали глаз с оленей, которые спокойно паслись по гребню горы. Так прошло, может быть, полчаса. Я плохо верил в успех охоты и пытался заговорить с моим товарищем, но тот всякий раз сердито качал головой... Вдруг он указал мне на оленей: сперва встрепенулся один из них, а потом и все бросились по направлению к нашему кустарнику. За ними скакал кто-то. „Это князь,“ шепнул мне товарищ. Между тем, один за другим, стали появляться охотники; из-за гребня раздалось несколько выстрелов. Олени вытянулись в нитку и все приближались к нам довольно тихо, так что некоторые из всадников уже равнялись с ними, заскакивая их справа. Вообще, олени, особенно р о г а ч и, плохо скачут под гору. Передние охотники все более и более приближались к ним; мы уже слышали их крики. Наконец, один из охотников выстрелил. Олени сбились в кучу и, через несколько минут, были от нас шагах в пятидесяти. Мы сделали залп; но, кажется, никто не попал, потому что олени снова вытянулись в нитку и преспокойно пронеслись мимо нас. Сзади всех скакал огромный рогач. Опустив голову, вытянув шею и высунув язык, он шел очень тихо, с каждым шагом как будто падая на перед. Когда олень поровнялся с нами, мой татарин, который один только и удержал заряд, выстрелил. Олень точно оживился. В один скачок догнал он табун, только что перескочивший чрез перелесок, и понесся по поляне все шибче и шибче.

Я следил глазами за охотниками, преследующими оленей. Табун стал заметно отделяться. От него отстал только один рогач, вероятно, тот же, по которому стрелял татарин. Наконец, один из конных догнал его и выстрелил в упор. Олень все шел. Другой татарин ударил штыком его, и тут он уже свалился. Между тем мы сели на лошадей и догнали наших товарищей, собравшихся вокруг убитого зверя; остальные уже скрылись из виду. Один из охотников перерезал поджилки убитого оленя на задних ногах, выше колен, чтобы спустить кровь. Татары никогда не прикалывают оленя, но подрезывают ему поджилки на задних ногах, — вероятно, потому, что олень так силен, что, когда его прикалывают, даже в предсмертных судорогах, одним ударом копыта или рога может опасно ушибить неосторожного охотника. Кроме удара шашкой по самому хребту, в олене было три пули. Два татарина, сняв чересседельник, зацепили его за рога и потащили оленя по земле. Мы ехали вперед и скоро повернули в довольно узкое ущелье. По обоим сторонам рос густой кустарник, переплетенный диким виноградом, хмелем и ежевичником, беспрестанно задевавшим нас то за шапку, то за черкеску. Только что поднявшийся туман еще блестел на листьях, и едва чувствительный ветер веял на нас прохладой. У самого выезда из ущелья вдруг появился вал, тоже весь покрытый диким виноградом и павиликой; белые колокольчики резко отделялись от густой зелени. Едва замет-

ной тропинкой, между кустами густого терновника и кучами навоза, обогнули мы ограду и под'ехали к воротам. В ауле уже нас ожидали. Собаки страшным лаем давно дали знать о нас и, вместе с мальчишками, высыпали к нам навстречу. На крышах саклей стояли женщины и очень учтиво закрывались рукавами и поворачивались к нам спиной, когда мы проезжали мимо их. Хозяева также вышли встречать нас и приветствовали князя, который некоторым просто кланялся, другим говорил несколько слов. Таким образом мы доехали до сакли княжеского кунака, который, разумеется, встретил нас на дворе и, со всем возможным почетом, проводил в саклю. Мы пробыли здесь, по крайней мере, час, пока охотники очистили оленя, взвалили его на арбу и отправили домой, к князю. Все это время сакля ни на минуту не оставалась пустою: один приходил, другой уходил. Каждый, входя, говорил приветствие князю и, получив ответ, становился около двери; затем, простояв несколько времени и сказав два или три слова, повторял свое приветствие и уходил....

Двор был полон ребятишек. Одни бегали около лошадей, другие смотрели на убитого зверя или глазели на нас в окна сакли, — все шумели страшно.

Между тем, хозяин приготовил закуску, и, несмотря на то, что князь и за себя и за меня говорил ему, что мы заехали только отдохнуть н ничего не хотим, он поставил перед нами

очень обильную закуску; тут был и шашлык, и плов, и разные другие кушанья. Князь с‘ел несколько кусков шашлыка, я попробовал понемногу всего; а остальное хозяин поставил перед нашими охотниками, которые принялись за завтрак с большим аппетитом.

Азиатцы, вообще, едят мало, за то и любят хорошо поесть: это для них наслаждение, особенно для тех, которые не преступают закона магометова, т. е. не пьют ни водки, ни вина. Надо сказать, что все азиатские кушанья, особенно мясные, приготовляются очень вкусно, и я всегда смотрю с удовольствием, как едят азиатцы. Для них обильный, сытный обед—праздник, и, обратно, праздник есть случай хорошо поесть.

Итак, как только кончился праздник, т. е. все было с‘едено, мы сели верхом и, в сопровождении нашего хозяина и еще двух татар, выехали уже в другие ворота. Солнце было высоко.

—Куда ж мы поедем теперь? спросил я князя.

—На охоту... А разве вы устали?

—Нет; но, кажется, уже поздно.

Князь обратился с вопросом к одному из татар и перевел мне ответ его. Князь говорил, что „теперь самое лучшее время для охоты: коза лежит в жар крепко, и скоро утомляется; что теперь очень нетрудно догнать ее; что татарин этот знает свое дело и один из лучших охотников его, князя.“ Это был тот самый та-

тарин, который при мне стрелял по оленю. „Ну, так поедем,“ сказал я.

Когда мне случается ездить с кунаками на охоту или куда бы то ни было, я совершенно полагаюсь на них, т. е. решительно ни о чем не забочусь: когда выехать, какой дорогой, ехать ли шагом или рысью, где останавливаться, чем кормить лошадей, что будем мы есть сами,—это уже не мое дело. И эта-то беззаботность, эта-то неизвестность и составляют для меня прелесть такого рода поездок. Разумеется, выбор кунаков требует большой осторожности. Что до меня, я был в этом очень счастлив и даже замечал, что эта доверенность к ним нравится кунакам и привязывает их...

Итак, мы выехали на большую поляну, поросшую высокой травой и бурьяном. Когда мы выровнялись, я поехал рядом с охотником, которого мне рекомендовал князь, — и, действительно, он оказался превосходен. Особенно удивило меня его необыкновенное зрение.

Не успели мы проехать несколько времени, как он повернул свою лошадь направо и сделал мне знак рукою, чтобы я ехал за ним. „Вот коза лежит“, сказал мне татарин; но, сколько ни смотрел я по тому направлению, на которое он показывал мне, я ничего не видел. Таким образом мы проехали еще несколько шагов. Татарин приготовил ружье, — я сделал то же — приподнялся на стремя и стал смотреть вниз. Я следил за его взглядом... как вдруг, почти под ногами наших лошадей, выскочили три козы.

Мы выстрелили: я промахнулся, татарин повалил на месте козла; другая коза понеслась по степи, высоко подкидывая свой белый зад и точно ныряя в густой и высокой траве. Мы поскакали за ней. Тут мы увидели еще козу, с двумя козлятами. Охотники разделились на две партии. Я, Саип-Абрек (так звали моего товарища) и еще двое татар продолжали гнаться за первой козой, начинавшей итти все тише и тише. Я уже нагонял ее, как вдруг она круто повернула назад, и лошадь моя пронеслась мимо. Когда же я остановился и оглянулся, то увидел, что оба татарина тоже пронеслись мимо; один только Саип преследовал козу, которая все чаще и чаще начала делать крутые повороты. „Левая рука... береги!“ кричал мне Саип. Поняв его, я начал заскакивать с левой руки, и в самом деле, мне удалось выстрелить. Коза перевернулась. Саип слез с лошади и прирезал козу. Между тем, другие охотники убили обеих молодых коз. Одна только старая коза пошла дальше, за ней поскакал князь с тремя человеками. Татары начали вторачивать коз. Саип, прищурясь, смотрел вдаль, по направлению, куда поскакал князь. Он был очень большого роста, хорошо сложенный, широкоплечий мужчина лет сорока. Лицо у Саипа широкое, скуластое; борода довольно редкая; рот очень большой; прекрасные ровные и белые зубы; глаза карие, очень маленькие. Вообще физиономия Саипа походила на ногайскую. Хоть плохо, он все-таки говорил по русски. Когда я стал спра-

шивать, как мог он в траве увидать коз, Саип об‘яснил мне, что коз он не видал, а видал комаров, которые, обыкновенно, летают над козами. Об‘яснение это очень вероятно: в ясный, солнечный день очень далеко видишь столп комаров, когда они вьются над каким-нибудь предметом и, как говорят, играют на солнце... Вдруг мы услыхали выстрел, но очень отдаленный.—„Это князь выстрелил“, заметил Саип и начал еще с большим вниманием смотреть вдаль.—„Вон князь!“ сказал он наконец, показывая рукой и осклабляясь, как собака, которая увидела своего хозяина. По обращению его с князем, мне казалось, что Саип очень предан ему, и вообще он мне чрезвычайно нравился.

—Твоя лошадь нет устал? спросил он меня.

—Нет.

—Так пойдем.

И мы поехали по направлению, откуда слышали выстрел. Через несколько времени вдали показалась черная точка, потом другая, и наконец мы ясно различили четырех всадников, ехавших нам навстречу. Это, действительно, был князь. Видя, что коза решительно уходит, он, в самом деле, выстрелил по ней, но вероятно не попал. По крайей мере, он сам говорил это. Саип, однакож, не хотел верить, чтобы князь дал промах, и советовал ему возвратиться на то место, где стрелял; Саип даже показал это место, и таким образом мы воротились. Приехав, Саип слез с лошади. Стара-

тельно осматривая и отыскав едва заметный козий след, он пошел по нем. Мы хотели было уже воротиться назад, как вдруг Саип стал радостно махать нам шапкой. Он показал нам на траве, едва заметные, две или три капли крови, потом сел на лошадь и отправился по следу с такой уверенностью, как будто ехал по большой торной дороге. Я - за ним, посмотреть, чем это кончится. В самом деле, следы крови становились заметнее и заметнее. Саип беспрестанно останавливался и осматривался во все стороны.

—Вот она! закричал он наконец й поехал рысью.

—Ты опять комаров видишь? спросил я Саипа, следуя за ним.

—Нет! теперь комар нет, а карга... вон смотри.

В саженях восьмидесяти от нас, действительно, я увидел несколько сорок. Подехав к кусту, мы нашли мертвую козу, у которой сороки уже выклевали глаза. Саип второчил ее, и мы догнали князя и остальных охотников около самых аулов, и воротились прямо к ужину.

Расспрашивая князя о Саипе, я узнал, что он не кабардинец, а ногай с Терека, что он живет у князя уже несколько лет и действительно один из самых преданных ему людей. На вопрос мой, как же попал Саип из ногайских степей в Кабарду, князь отвечал мне, что он абрек. Ответ этот, разумеется, не удовлетворил меня.

Слово абрек так употребительно на Кавказе, что почти получило право народности в русском языке; но мы употребляем его совсем не в том значении, какое имеет оно между туземцами. Таким образом, довольно трудно об'яснить настоящее значение этого слова. Русские называют абреками всех горцев, в особенности тех, которые ходят на разбой в наши границы. Понятие абрек у нас часто тождественно со словами: молодец, джигит; иногда абреком называют бобыля, бездомного человека, готового решиться на все. Но между туземцами на Кавказе слово абрек имеет более тесное, более определенное значение. Мирный татарин никогда не назовет абреком горца: по его понятию, абрек только тот, кто бежал в горы из мирного аула,—и, обратно, горцы, и даже мирные, называют абреками всех тех, которые переселяются из гор в мирные аулы. Если татарин сделал в своем ауле какое-нибудь преступление—убийство или воровство, за которое боится преследования,—он бежит из своего аула в другой и скрывается там: тогда его называют абреком и прозвище это остается при нем до тех пор, пока какими бы то ни было средствами не помирится он с своими преследователями и не воротится на родимое место. Часто князья держат таких абреков у себя, защищая их от преследования, и зато абрек усердно служит князю. Обыкновенно, это бывают самые верные люди, готовые исполнять все, что прикажет князь. Такого рода сделка не имеет ничего предосу-

дительного; напротив, чем более при князе абреков—а они большею частию **канлы**, то-есть убийцы — тем большим уважением пользуется он, как человек сильный. Такого-то рода абрек был и Саип.

После ужина князь, во всей точности исполняя законы гостеприимства, уступил мне свою саклю, а сам перешел в другую, догадавшись, вероятно, что меня интересует история Саипа. Он назначил быть при мне ему и еще другому татарину, Аладию, который порядочно знал по русски и, следовательно, мог служить мне переводчиком.

Оба татарина уселись перед камином и начали разговаривать, между тем как я лежал на мягких перинах и придумывал, как бы заставить Саипа рассказать мне его историю. Наконец Аладий вывел меня из затруднения.

—Ты не спишь? спросил он меня.

—Нет, мне не хочется спять. Давай разговаривать.

—О чем **говаривать**? Я молодой человек: ничего не знаю. Вот Саип много видал, много знает.

—Ну, попроси Саипа рассказать что-нибудь. Как попал он из ногайцев в Кабарду?

Аладий, кивнув мне головой, обратился к Саипу. Тот сперва вычистил трубку, набил ее, закурил и начал что-то говорить Аладию, по временам останавливаясь, чтоб затянуться, выпустить дым или плюнуть в огонь.

—Что говорил он? спросил я.

—Погоди: я все скажу тебе, отвечал Аладий.

И затем он снова обратился к Саипу, который, глядя на огонь, продолжал говорить. Саип-абрек рассказывал свою историю. Все было тихо. Где-то, далеко, собака заливалась громким лаем, да часовой на дворе князя мерно прохаживался под моими окнами. Полная луна светила в них, и свет этот, сливаясь с ярким пламенем камина, придавал какой-то странным колорит внутренности нашей сакли и фигурами обоих татар, сидевших на корточках перед огнем. Черные тени их стлались по земляному полу, потом подвигались на стене, завешенной ковром и оканчивались над самой моей головой, причудливо изогнувшись по дубовым балкам потолка. Часть сакли дальше от камина оставалась в совершенной темноте: видны были только столбы поддерживавший матицу, на котором висело оружие, да у дверей огромное медное блюдо для плова, отражавшее свет камина и, по временам, когда огонь вспыхивал, само блестевшее, как огонь. Молча слушал я однообразную и непонятную для меня речь Саипа.

—Ты не спишь? спросил меня Аладий.

—Нет, слушаю.

—А понимаешь?

—Нет.

Аладий залился громким смехом на мой ответ; я тоже засмеялся; Саип перестал говорить и, улыбаясь и глядя на нас, начал набивать трубку. Насмеявшись вдоволь, мы с Аладием последовали его примеру.

—Что он рассказывал тебе, Аладий?

—Говорил, как он жил в горах.

—В каких горах?

—В Чечнях и Тавлии.

—А разве он был в горах? спросил я, с любопытством глядя на Саипа, который утвердительно кивнул мне головой.

— Был, отвечал за него Аладий:—сперва пленным, а потом абреком; был их вожаком—водил партии на Линию, да поссорился с ними и ушел к нам в Кабарду.

И Аладий начал рассказывать мне, или вернее, переводить историю Саип-абрека. Саип часто перерывал ее, дополняя подробностями, которые Аладий передавал мне.

Вот эта история.

VII

ИСТОРИЯ САИП-АБРЕКА.

Саип родом ногаец. Отец его имел четырех сыновей, а человек был бедный и нанимался пасти баранту. Главный промысел старика составляла охота; оттого и Саип с ранних пор сделался охотником. Саипу было еще только четырнадцать лет, когда отец позволил ему охотиться и отдал ему прекрасного балабана. С тех пор Саип не разлучался с своей птицей ни на минуту. Раз отправился он на охоту верст за десять от своей кочевки и, возвращаясь домой вечером, увидел вдруг вооруженного всадника, который, казалось, переезжал ему дорогу. Саип толкнул лошадь. За всадником показался другой, третий; а через несколько минут, на бугре, появилось еще пять человек. Саип догадался, что это абреки, ружья у него не было, и он пустился от них скакать; из тороков своих на скаку обронил он зайца. Измученная лошадь Саипа едва бежала, а абреки заскакивали со всех сторон. Тогда он обрезал путлища у своего балабана и пустил его...

—Зачем? спросил я у Саипа.

—Я думал, что балабан полетит домой и отец, увидев обрезанные путлища, догадается,

что со мной случилось несчастье. Балабан долго летел за мной, а я скакал во весь дух и все слушал, как звенел его колокольчик на ноге. Наконец, абреки нагнали меня и, когда я слез с лошади, стали меня вязать. Я все смотрел вверх на мою птицу. Балабан долго кружился надо мной, потом крикнул раза два и поднялся вверх. С тех пор я больше не видел его...

Когда абреки взяли Саипа, было около полуночи и они уже возвращались назад. Пришед к Тереку, стали переправляться. Ночь была темная. Собаки Саипа все бежали за ним, но тут остались на берегу и начали выть.

—Дурной знак! сказал один чеченец.

—А еще хуже, что казаки могут услышать, заметил другой.

Чтобы заглушить собак, один из чеченцев завыл по волчьи, ему отвечали чекалки, и, под эту музыку, абреки, со своим пленным, отправились через реку и к утру были в горах.

Сначала Саип жил у одного из чеченцев, в Алдинских хуторах. Там сперва строго присматривали за ним, но потом, увидев, что он не хочет бежать, они стали не так строги.

—А разве ты не хотел бежать?

—Нет, я тогда молод был, глуп, — к тому же знал, что отец мой человек бедный и не очень жалеет обо мне; мне и там было хорошо. Только я жалел, что мне нельзя охотиться... А когда меня весной послали со стариком Темирчи в Черные горы пасти конный табун, я очень обрадовался.

— Чему ж ты рад был?

— Тому, что мне дали ружье, и, значит, я могу охотиться... А какая охота в горах! Олени... такие табуны, как здесь баранты!.. коз, кабанов, лис, медведей — пропасть!.. А главное, какие там соколы! таких во всем мире нет!.. Я по целым дням сидел в одной роще и смотрел, как сокол гоняет в ней голубей. Несколько раз я подкрадывался к нему, когда он, наевшись, сидел на дереве, поджав одну ножку и выставив вперед грудь, как джигит какой-нибудь; видал несколько раз, как сокол этот прилетал пить и купаться в ручье около самой нашей землянки. Вечером я видал, как он улетал в ущелье, и тогда только я возвращался к Темирчи; не спал всю ночь — все думал, как бы поймать этого сокола. Наконец, выдумал я хитрость: подкараулив, когда сокол поймал голубя, я согнал его, но, зная, что он воротится за своей добычей, поставил над полумертвой птицей пружок. Сокол, в самом деле, прилетел и попался. Я взял его и стал вынашивать; а через месяц он уже ходил ко мне на руку. В это время приехало к нам несколько человек из нижних аулов, за лошадьми. Они собирались в набег. Мне уже надоело жить без дела, и я был бы рад, если б они взяли меня с собой. Я сказал об этом Темирчи, тот передал им; но они отвечали, что без наиба не смеют. Темирчи посоветовал мне итти к наибу и отнесть ему сокола. Я так и сделал. Наиб принял меня хорошо и подарил пистолет, в знак того, что я

вольный человек и могу жить, где хочу. Я сперва поселился на Рашне у Чими.

— Твоя слыхал про Чими? спросил меня Аладий.

Я отвечал, что нет, и Аладий начал рассказывать мне, что Чими был первый джигит во всей Чечне, что «другой такой джигит не будет».

— Где он теперь? спросил я.

— Пропал! Вот он все расскажет тебе, отвечал Аладий.

Саип продолжал рассказ.

Поселившись на Рашне, он несколько раз ходил с партиями на Линию, наконец сделался известным вожаком, так что из байгушей стал значительным человеком, купил себе саклю в Алдинских хуторах и, поселившись там, завел свое хозяйство. Саип взял к себе в дом несколько пленных солдат, которые обрабатывали его поле и пасли скотину, между тем, как сам он продолжал ходить на разбои на Линию или охотился с Темирчи и Чими в Черных горах. Он уже собирался жениться, когда с Чими случилось несчастье, в которое замешался и Саип,— и вот каким образом. Раз Саип, с десятью чеченцами, которых он всех назвал мне по именам (вообще, Саип рассказывает очень подробно), ходил на Линию. Старшим в этой партии был алдинский старшина Улу-бей. Удачи им не было, и они возвращались с пустыми руками, когда, около Сунжи, встретили человека, гнавшего из гор волов. Предполагая, что это мир-

ный татарин, ходивший воровать в горы, чеченцы решились отнять у него скотину и даже поймать его самого; но, став между волов и положив винтовку на ремень, которым были связаны животные, татарин не давался чеченцам. Стрелять они не хотели, потому что находились недалеко от русской крепости и боялись сделать тревогу. Несмотря на то, что мирный татарин был закутан башлыком, Саип узнал в нем брата Чими, Алхаза, который, несколько лет тому назад, бежал к русским, жил теперь в Сунжинской станице и часто бывал в горах у брата. Саип решился спасти его, взяв сперва слово с Улу-бея, что если мирный татарин отдаст ему, Саипу, оружие, то они отпустят его живого; потом прямо поехал на Алхаза, который тоже узнал Саипа. Начались переговоры, кончившиеся тем, что Алхаз сдался, а Саип поручился, что его отпустят. Но Улу-бей также узнал Алхаза, и так как в горах подозревали, что он служит лазутчиком у русских, то и решился Улу-бей задержать его. Старик стал уверять, что не может отпустить его сейчас, потому что боится, чтобы с ним не сделалось какого несчастья, что это всем им будет стыдно, что лучше ему переночевать у Улу-бея, и что он сам завтра проводит его до Сунжи. Алхаз и Саип поняли, что старик хитрит; но, видя, что все держат его сторону, они только молча переглянулись, и Алхаз пошел с ними в горы. Улу-бей привел его в свою саклю, прекрасно угощал всю ночь и, на другой день об'явил, что об Алхазе уже

узнал Толчик, и что поэтому теперь без позволения наиба он не может его отпустить. Улу-бей прибавил, что он сам поедет хлопотать об этом, что Алхаз его гость, что он не даст его в обиду, но, вместе с тем, уезжая, приставил к Алхазу караул. Узнав все эти подробности, Саип решился ехать к Чими и об'явить ему обо всем.

— Когда я приехал к Чими, он ничего не знал. Мне было стыдно говорить ему о том, что произошло между нами, и я боялся, чтоб он не сказал мне дурного слова: тогда я бы сам себя резал; но он ничего не сказал, взял со стены два ружья и стал седлать лошадь. Я спросил его, куда он едет. — «Не знаю, — отвечал он, — брат пропал, и я пропаду». Я стал просить, чтобы он взял меня с собой. — «Не надо,—отвечал он. — Поезжай лучше к Турло (Турло был другой брат Чими; жил он в Черных горах), привези его к себе; а я завтра приеду к вам и скажу, что надо делать. Если ж не приеду, значит и я и Алхаз пропали. Тогда пусть Улу-бей заплатит вам за нашу кровь». Чими догнал брата около Аргуни. Восемь человек мюридов уже вели его к наибу. Он прямо бросился на них и, прежде чем те успели выстрелить, был уже подле брата. Алхаз вскочил к нему на лошадь; оба схватили ружья и поскакали назад.

— Как же мюриды не взяли их? Ведь их было восемь человек?

— Так! отвечал Саип: — они им не дался. — Впрочем, он прибавил, как бы для

пояснения этого факта, что Чими был большой джигит: «Его знали во всех на горах. Может, мурут боялся, может, нет,—Бог знает. Они им не дался», повторил Саип.

Итак Чими с братом воротились домой, где были уже Саип и другой брат Алхаза, Турло.

Как скоро весть об этом разнеслась по аулам, собралось множество народа, — начались толки: что̀ делать? Боялись, что наиб потребует Чими. Так и случилось. Когда старшины аула об'явили Чими об этом, он сказал, что сам поедет к наибу, и, действительно, поехал с обоими братьями. Чими был известный человек, у него было много родни, и он знал, что Толчик ничего не посмеет сделать ему без Шамиля. «Сам Шамиль знал Чими. Чими был очень — очень джигит!» Когда братья приехали, наиб обобрал у них оружіе, коней, посадил их в яму и послал к Шамилю, с донесением об этом деле. Через неделю посланный воротился. Наиб собрал стариков и весь народ и об'явил им, что Шамиль приказал Чими отпустить, а братьев его убить. «Дурак тот, кто убьет у волка детей, а волчицу пустит». Видя, что все кончено, Чими перестал просить наиба и простился с братьями. Обоих убили в его глазах. Один упал с первого выстрела, другой, Алхаз, простреленный насквозь, долго стоял и бранил наиба, приказавшего его пристрелить. Чими на все это смотрел молча. Он не сказал

ни слова, не вскрикнул, когда один из мюридов наиба проколол ему ножем, один за другим, оба глаза. Только когда наиб заметил, что он, кажется, видит, Чими рассердился — всунул в свежую рану палец и сам вырвал свой глаз, потом бросил его к ногам наиба и сказал: «Теперь веришь ли, что я больше не буду видеть?»

Наиб приказал пустить его; а между тем Чими, действительно, мог еще видеть одним глазом. Какой-то хеким взял его в дом к себе и стал лечить. К этому хекиму приехал Саип в отчаянии, потому что считал себя причиной всех этих несчастий. Он хотел убить Улу-бея и перерезать всю его родню; но нашелся добрый человек, который отговорил его.

Этот добрый человек был старый чеченец Шерик, тоже кунак Алхаза, с которым он вместе служил лазутчиком у генерала С. Генерал прислал его узнать об участи Алхаза, и Шерик сам был свидетелем этой кровавой драмы. Узнав от Саипа, что все эти беды наделал Улу-бей, он тоже решился отмстить ему. «Шерик, по выражению Саипа, был очень умный человек. Я и Чими долго с ним толковали. Наконец решили на одно дело».

Вот в чем состояло оно. Саип вернулся в Ахты. Хотя все знали, что он принимал участие в деле Чими, но никто не говорил ему об этом. Сам Улу-бей, боясь, что Саип станет мстить ему, несколько раз приходил к нему в саклю и старался помириться с ним. Когда, однажды, Саип

предложил Улу-бею итти на Терек воровать, тот очень обрадовался, думая, что Саип уже не сердится, но, в предостережение, взял с собой одних только родственников. Но этого-то и хотелось Саипу и хитрому человеку Шерику; они на это рассчитывали.

Саип дал знать Шерику, что в такую-то ночь, за час до захода месяца, он с Улу-беем и одиннадцатью человеками родственников его будут переезжать Машакал-юртскую канаву; что он, Саип, поедет впереди на вороной лошади, в желтой черкеске и башлыке, под'едет первый к канаве и, в'ехав в воду, ударит лошадь три раза плетью; что Улу-бей будет на сером коне и, верно, в белой черкеске. Шерик передал все это генералу, который послал на Машакал-юртскую канаву казачий секрет. Вожаком был, разумеется, Шерик.

— Он знает, что я хорошо вижу, сказал Саип Аладию, указывая на меня. — Ночь была такая же свежая, как теперь, когда мы под'ехали к канаве. В кустах, за канавой, я увидал папахи казаков; мне казалось даже, что я слышу, как говорят русские между собой. Направо был лес. Я услыхал, как в лесу фыркнула лошадь, и мне стало страшно: я боялся, чтобы товарищи мои чего не заметили, и начал петь. Наконец, мы добрались до канавы, и я в'ехал в воду, ударил коня три раза плетью, переехал и обернулся назад. За мной ехали Улу-бей и еще один татарин, оба на серых лошадях. Они остановились поить коней.

« — А ты что ж не поишь? — закричал мне Улу-бей.

Я молчал, потому что слышал, как около меня разговаривали казаки.

« — Двое на серых, сказал один.

« — Бей обоих, отвечал другой.

«Раздались выстрелы, и что-то упало в воду. Я обернулся. Лошадь Улу-бея, в одном седле, выскочила на берег; другой татарин, раненный, шатался в седле, ухватясь обеими руками за гриву лошади. Из лесу выскочили конные казаки. Началась стрельба и крик. Какой-то казак ударил мою лошадь по спине рукой и сказал мне:

« — Гайда! кунак!

«Я поскакал. Выстрелы смолкли. Все было кончено!.. Вдруг я услыхал страшный крик: это казаки дорезывали кого-то из чеченцев. Другой чеченец пел предсмертную песнь. Раздались еще два выстрела, и потом опять все смолкло, а я все скакал, точно гнались за мной. Утром я приехал на Терек, к аулу, что против Калиновской станицы... знаешь?..»

Я молчал. Рассказ Саипа произвел на меня тяжелое впечатление. В глазах у меня представлялись, то окровавленная голова слепого Чими, то ночной бой в степи и всадник предатель, который скачет один по полю, как будто за ним гонятся...

Чтобы рассеять это впечатление, я возобновил разговор.

— Долго он жил в этом ауле? спросил я Аладия.

— В каком?

— В Калиновском.

— Нет. Генерал дал ему билет, — и он хотел жить в станице Юрте, да его не дошла!

— Отчего ж?

— Его хотели в Сибирь послать.

— Кто же? русские?

— Нет! наши. Когда Саип был в горах, он у них много скота угонял. За то они на него были сердиты, хотели его на кандала посадить. Но Саип ушел в Кабарду, к нашему князю.

— Зачем же он не поехал домой к отцу?

Когда Аладий перевел Саипу мой вопрос, он сперва задумался. потом снова стал что-то рассказывать.

— Что он говорит? спросил я у Аладия чрез несколько времени.

— Сказку рассказывает.

— Как, сказку?

— Да он говорит, что у одного охотника улетел ястреб-гнездарь в лес, где жили его братья и отец. Вечером сел он на дерево, вместе с братьями, а когда проснулся ночью, то увидал, что братья его все отлетели от него и сидели на других деревьях. Утром он рассказал об этом старому ястребу. «Верно, они боятся твоих бубенчиков». Молодой ястреб оторвал бубенчики и вечером опять сел на одно дерево с братьями; но те, по прежнему, отлетели от него, и молодой ястреб опять рассказал старику. «Верно, они боятся твоих путлищ». Оторвал и путлища и опять сел с братьями на дерево; но

ночью, когда молодой ястреб проснулся, братьев его не было с ним. Тогда он заплакал и полетел далеко, в чужой лес... Эту сказку рассказал Саипу отец, когда он приехал к нему из Кабарды.

— Так он был у отца?

— Был, отвечал Саип, поняв мой вопрос.— Наш Ногай народ — трус-народ, ружья нет, шашки нет, ровно — ровно баран. Они меня боялись. Старики боялись, сказали бачке, бачка сказал мне...

И Саип начал, страшно ломанным языком, повторять мне сказку про ястреба-гнездаря.

— Бачка старый человек, умный человек: у него много в башке! прибавил он, окончив свой рассказ.

Между тем, месяц сел. Белый туман клубами начал расстилаться по улицам и крышам аула. В сакле сделалось темно и сыро. Я приказал Аладию запереть ставни. Пока он исполнял это, Саип-абрек положил дров в камин и развел огонь. Веселое пламя разгорелось и осветило саклю. Тяжелое впечатление саипова рассказа исчезло во мне. Я завернулся в одеяло, стал вспоминать про вчерашнюю охоту и с этими мыслями зснул.

ОГЛАВЛЕНИЕ.